

ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ

**МОСКВА И  
МОСКВИЧИ.  
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ**

**Владимир Алексеевич Гиляровский**  
**Москва и москвичи.**  
**Избранные главы**  
**Серия «Классика в иллюстрациях»**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9532724](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9532724)*

*Москва и москвичи. Избранные главы: ОЛМА Медиа Групп; Москва;  
2013*

*ISBN 978-5-373-05318-1*

**Аннотация**

«Москва и москвичи» В. А. Гиляровского – это уникальное произведение, в котором в увлекательной форме рассказывается о жизни москвичей во второй половине XIX – начале XX века. Минувшее предстает перед читателями во всем своем многообразии: в блеске и нищете, в веселье и скорби. Известный бытописатель Гиляровский не оставляет без внимания ни одну сторону жизни Москвы: здесь и шумные праздники, и тихие прогулки по тенистым бульварам, шикарные магазины и грязные опасные трущобы, экипажи и первые трамваи. Текст В. А. Гиляровского сопровождается интересными заметками из старых газет и журналов, любопытными воспоминаниями современников, фотографиями и произведениями живописи, чтобы читатель смог в полной мере ощутить атмосферу того

удивительного времени. [i]В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.[/i]

# Содержание

От автора	8
В Москве	11
Из Лефортова в Хамовники	15
Театральная площадь	24
Хитровка	29
Сухаревка	73
Ночь на Цветном бульваре	114
Дворцы, купцы и ляпинцы	126
«Среды» художников	167
Начинающие художники	180
На Трубе	196
Лубянка	228
Булочники и парикмахеры	252
Два кружка	287
Львы на воротах	309
Студенты	343
Нарышкинский сквер	364
История двух домов	375
Бани	401
Трактиры	458
На моих глазах	518



**Владимир Алексеевич  
Гиляровский  
Москва и москвичи.  
Избранные главы**

© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» 2013

\* \* \*



*С. Малютин. Портрет В. А. Гиляровского*

# От автора

Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я – москвич!

Минувшее проходит предо мною...

Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

...В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.

Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы.

Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние дерев-

ни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, готовят себя к героическим подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы...

Это стало возможно только в стране, где Советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.

...Грядущее проходит предо мною...

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди обитали в ней.

И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями: «старой» и «новой».

Старая – фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, проживше го и живущего

На грани двух столетий,

На переломе двух миров.

*Москва, декабрь 1934 года*

*Вл. Гиляровский*

# В Москве

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».

– Во, это Рязанский вокзал! – указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделен-

ных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки... Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол – два часа!

– Это на Басманной. А это Ольховцы... – пояснил вожатый. И вдруг запел петухом: – Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще...

И вдруг – сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.





*М. Якунчикова-Вебер. Москва зимой*

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще пл ошадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

# Из Лефортова в Хамовники

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой – единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни – низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

– Дедушка, в Хамовники!

– Кое место?

– В Теплый переулок.

– Двугривенный.

Мне показалось это очень дорого.

– Гривенник.

Ему показалось это очень дешево.

Я пошел. Он двинулся за мной.

– Последнее слово – пятиалтынный? Без почину стою...

Шагов через десять он опять:

– Последнее слово – двенадцать копеек...

– Ладно.

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

– А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота – юрк!

– Куда мне сбежать – я первый день в Москве...

– То-то!

Жалуется на дорогу:

– Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели...

– На чем? – спрашиваю. – На гитаре?

– Ну да, на колибере... вон на таком, гляди.

Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди – сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с кунным воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону,

к нам лицом.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:

— Эту лошадь — завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку... Добрая. Четыре года. Износу ей не будет... На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут...

Переезжаем Садовую. У Земляного вала — вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.

Вдали звенят колокольчики.

Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:

— Кульеры! Гляди!

Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.

Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки

в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой – разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.

Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.

– Кто это? – спрашиваю.

– Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важных каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самая лучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.

...Жандарм с усищами в аршин. А рядом с ним какой-то бледный. Лет в девятнадцать господин... – вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.



*С. Светославский. Москворецкий мост*

– В Сибирь на каторгу везут: это – которые супротив царя

идут – пояснил полупшепотом старик, обращиваясь и наклоняясь ко мне.

У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суеились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.

– Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут, – пояснил мой возница и добавил: – Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: поило за счет седока.

Я исполнил его требование.

– Вот проклятушие! Чужих со своим ведром не прощают к фанталу а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.

Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара – от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозничьего трактира, стояли сплошь – мордами на площадь, а экипажами к тротуарам – запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей



были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.

Из трактира выбегали извозчики – в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке – к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, – кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «васьсиясь!»<sup>1</sup>.

Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков<sup>2</sup> и водовозных бочек.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки.

Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было

---

<sup>1</sup> Ваше сиятельство.

<sup>2</sup> Телега с плоским настилом.

кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы... Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.



## СИБИРЯКОВЪ.

Москва.

Угль Охотнирской  
и Театральной площадей.

ТЕЛЕФОНЪ № 30-75.

Торговля существуетъ съ 1865 г.

### ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ВЫБОРЪ:

мясныхъ,    о о о о

куриныхъ

о о о о    телятнхъ

товаровъ.

Продажа оптомъ

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арб ата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, – выездной лакей с баками,

в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.

За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой...

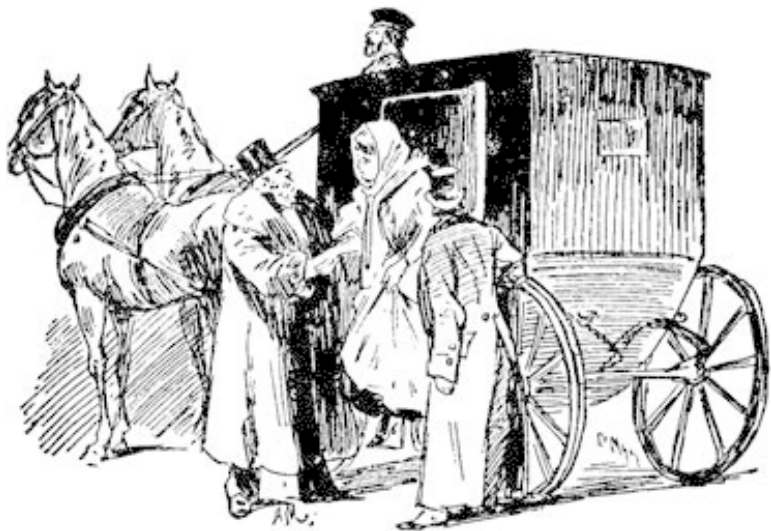
# Театральная площадь

Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов – то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переносусь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:

Были когда-то и вы рысаками,  
И кучеров вы имели лихих...



В восьмидесятых годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.

Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду.

Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один – под углом Малого театра, а другой – на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке – и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая, подернем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.

Запевала оживляется, – что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

У барыни платье длинно,  
Из-под платья...

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться.

А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха – белый цвет,  
А порткам, знать, смены нет.

И ржет публика, и все прибывает толпа.

Артель утомилась, а хозяин требует:

– Старайся, робя, наддай еще!

Встрях ивается запевала и понаддает:

На дворе собака брешет,  
А хозяин пузо чешет.

Толпа хохочет...

– Айда, робя, обедать.

«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.



### *Театральная площадь в начале XX века*

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит...

– Только разворуют, толку не будет.

А какой-то поп говорил в проповеди:

– За грехи нас ведут в преисподнюю земли.

«Грешники» поверили и испугались.

Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.



# Хитровка

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»...

Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» – смакует какой-то «бывший». А кто попроще – ест тушеную картошку с прогорклым салом, щекловину горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка – рубец, кото-

рый здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «номер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев...

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов — в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно...

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» – притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».



### *Хитрованцы*

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кри-

вых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городских – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит – вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

– Болдох! – гремит городской.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

– Здравствуйте, Федот Иванович!

– Откуда?

– Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что...

– То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то...

– Нешто не знаем, не впервой. Свои люди...

А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

– Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

– Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не прстоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде.

Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

– Попадешься – возьмет!

– Прикажут – разыщет.

За двадцать лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

– Ну, каторжник... Ну, вор... нищий... бродяга... Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь – другие прибегут... Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

– Соседи сработали... С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! – сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет – пальто новое. Я его утешаю:

– Если хитрованцы, найдем.

Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.

– Если наши ребята – сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хорошим арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

– Наши! Сейчас найдем... Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

– Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из от-

ворающейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

– Двадцать шесть! – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.



### *На Хитровке*

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

– Каторга сигает! – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: – Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого



не возьму, так зашел...

– Чего ж пугаешь зря! – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

– А вот морду я тебе набью, Степка!

– За что же, Федот Иванович?

– А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут... Второй побег. Я не потерплю!..

– Я уйду... Вон «маруха» завела! – И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.

– П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

– Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе – сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

– Сразу бы так и спрашивал. А то канителится... Ну Зеленщик!

– Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать – все одно возьму. Не спрашивают – ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то

с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

– Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

– А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

– Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, – послышался из-под нар бас-октава.

– Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.

– Это наш протодьякон, – сказал Рудников, обращаясь ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубаше с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.

– Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! – загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.

– Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! – крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников по-

пробовал – заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.

– Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.

– И что вы деретесь? Я же человек!

– А коли ты человек – где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

– И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

– Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! – сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

– Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружают дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свинынским переулком. Лицевой дом, выходивший

узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе – «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиныну По нему и переулочек называли. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в бли жайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом<sup>3</sup>: ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

---

<sup>3</sup> Паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор – и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обеживали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

– Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговых-обжорок. Мы остановились на минутку около торговых, к ко-

торым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-ренная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

– Горла, говоришь? А нос у тебя где?

– Нос? На кой мне ляд нос?

И запела на другой голос:

– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

– Ну, давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую саленую крышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

– Стюдию на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды.

– Вот беда! Вот беда! – шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

– А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

– В какую «Каторгу»?

– Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговых, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

– Заходить ли? – спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

– Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды...

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней – здоровенный оборванец с криком:

– Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу оборванец был оставлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску – единственное, что я требовал в трущобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

– Да пейте же!

Он выпил и закашлялся.

– Уйдем отсюда... Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

– Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

– Уйдем.

Расплатились, вышли.

– Позвольте пройти, – вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

– Пошел в... Вишь, полон полусапожек...

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу.

Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.



– И это перл творения – женщина! – думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:



## *Хитровские обитатели*

– Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

– Сейчас сбегаяю! – буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

– Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! – крикнул я ему вслед.

– Ладно, – слышалось из тумана.

Глеб Иванович стоял и хохотал.

– В чем дело? – спросил я.

– Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

– Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

– Нет, постой, что же это? Ты принес? – спросил Глеб Иванович.

– А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я... – уверенно выговорил оборванец.

– Хорошо... хорошо, – бормотал Глеб Иванович.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

– Нет, нет, все ему отдай... Все. За его удивительную честность. Ведь это...

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

– Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

– Пойдем! Пойдем отсюда... Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе! – обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не кто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиныйнскому переулку, чтобы прямо попасть в «Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг:

за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городских. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городские и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

– Черт знает... Это уже хуже!

– Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет...

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городских. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить – коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу – ужас! – из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

– Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шлятся!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда

не то что полиция – сам черт не полезет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сажу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

– Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и наостригли лыжи, но ждут объяснения.

– В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали...

– Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубашке, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца – мститель за женщину. Его

так и не нашли – знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д. П. Кувшинников.

– Ловкий удар! Прямо в сердце, – определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д. П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

– Где нож? Нож где?

Полиция засуетилась.

– Я его сам сию минуту видел. Сам видел! – кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья,

в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами. Будят.

– Эй, вставай, ребята, на работу! – кричит разбуженный сьемщик.

Супруги Кувшинниковы послужили А. П. Чехову прототипами героев его рассказа «Попрыгунья». В произведении Чехова Дмитрий Павлович и Софья Петровна представлены в образе четы Дымовых.

Вот как, например, описывается в рассказе их квартира: «В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены тёмным сукном, повесила над кроватью венецианский фонарь...»

Для сравнения – описание квартиры Кувшинниковых Щепкиной-Куперник: «Эту квартиру она устроила оригинально, „не как у всех“. В столовой поставила лавки, кустарные полки, солонки и шитые полотенца, „в русском стиле“, спальню свою задрапировала на манер восточного шатра, по комнатам у неё гулял ручной журавль и т. п.»

Дмитрия Павловича Кувшинникова, заядлого охотника, запечатлел на своей картине «Охотники на привале» (слева) художник В. Г. Перов.





*В. Перов. Охотники на привале*

Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них — шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира — кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов — везде были склады ви-

на, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

«Можете себе представить, – писал кому-то Чехов в 1892 году, – одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“, и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, а живет она с художником».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело – слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул», Но никто не пойдет на помощь. Разденут, раззуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда – в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И. И. Нейдинг сказал:

– Признаков насильственной смерти нет.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

– Иван Иванович, – сказал он, – что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе» насыпали! – Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. – Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услышали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с на жеваным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравля-

ясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаванием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток – по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тяткам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчишки.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась в «вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

– Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы.

Смотритель предложил ему:

– Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

– Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо – в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки.

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский<sup>4</sup>.

На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожного «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на «вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владель-

---

<sup>4</sup> Теперь Астаховский.

ца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свињин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

## ГОРОДСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

26-го августа в рыбном магазине купца П. С. Расторгуева в доме Купеческого общества, на Солянке, задержали мошенника, которому удавалось неоднократно получать от имени Н. С. Перлова разной икры в кредит в значительном количестве. Мошенник и на этот раз намеревался от имени Перлова

получить товар, но справки по телефону обнаружили его проделку. Мошенника задержали и отправили в участок.

*«Новости дня». 10 сентября (28 августа) 1905 года*

С одной стороны близ Хитровки – торговая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины... Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях Думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, – и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в Думе, то у другого – друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отдала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овра-



ге» по Свиныинскому переулку и огромным «Утюгом» срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи... Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул... Вот дом Орлова – квартиры нищих-профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы... Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте.

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных – тоже теперь сверкает окнами... На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговли, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети... А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые «огольцы» – их кавалеры.



### *Хитров рынок*

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговков и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли «поездошники», их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы... За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, уме-

ющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади – нищие, нищие... А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами... Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще избыют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива – будто ее и нет. В ней лет двадцать с лишком губернаторствовал городской Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он – в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, по-

вернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» – и так наподдал ногой – спасибо, что еще босой был, – что Елифанов отлетел далеко в лужу...

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел: – Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?..

Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиньинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

– Ах, извините, дорогой Федот Иваныч.

И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры – или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты – каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда – с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц,

аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных...

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети – будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облачается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый

тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за собором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от Гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» – с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающая по церквям, – самые многочисленные. В последней – бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот – аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.



— Что ты шляешься по улицам?— Шель-бы домой...  
— Попробуй пройти, столько теперь хулигановъ развелось, что просто опасно стало ходить... ограбить за первый сорт...

## Карикатура

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Ни-

ций-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос швейцара говорит: – Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятых годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князя его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» – бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Вол-



ги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«...Пожалте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мо-тают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то

фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежка. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело – табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штука не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия – кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивидент Нигде своего не упустим, такого везде „Петра Кириллова“ запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай – все пропьет!»



Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга» все как один наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскивали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решетника крыши, увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» – днем и в сумерки. Первые делали набегі вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы,

выхватывали из рук узелки и мчались в Свиныйинский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудях кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении – и вдруг в них летели кирпичи. Откуда – неизвестно... Один, другой... Иногда проходившие видели дымок, выходящий из мусора.

– Утюги кашу в арят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время – и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех – на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселиться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»...

# Сухаревка

Сухаревка – дочь войны. Смоленский рынок – сын чумы. Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни». И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помеща-

лись огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд – одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.



*А. Саврасов. Суарева башня*

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденного. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца» приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими – всегда. За бесценок купит и дешево продает...

Лозунг Сухаревки: «На грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других – азарт наживы, а третьих – спорт, опять-таки с девизом «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок: окружают барышники, чуть не силой вырвут И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок – только бы продать поскорее – бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем: «Сухаревской работы!»

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».



Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир, низок Григорьева, посещавшийся более скромной сухаревской публикой: тут игры не было, значит, и воры не заходили.

Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками – деньгами, которые выбрасывали из «лопаточников» (бумажников) юркие ярославцы-половые в белых рубашках.

Я садился обыкновенно направо от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу (он увлекался «путешествиями»), брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах, галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и кочет убежать. Его задерживают половые. Скандал. Кликнули с поста

городового, важного, толстого. Узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит:

– Из-за пятака правительство беспокоить!

Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев и много о них говорил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии.

У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части, в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков...

Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух, был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его

звали «Сухаревский губернатор».

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире – это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, сажал на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко, в квартире его – все знали – было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами, и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все – и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу особенно у известного лица, – ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут...

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу, приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги.

– Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян... Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.



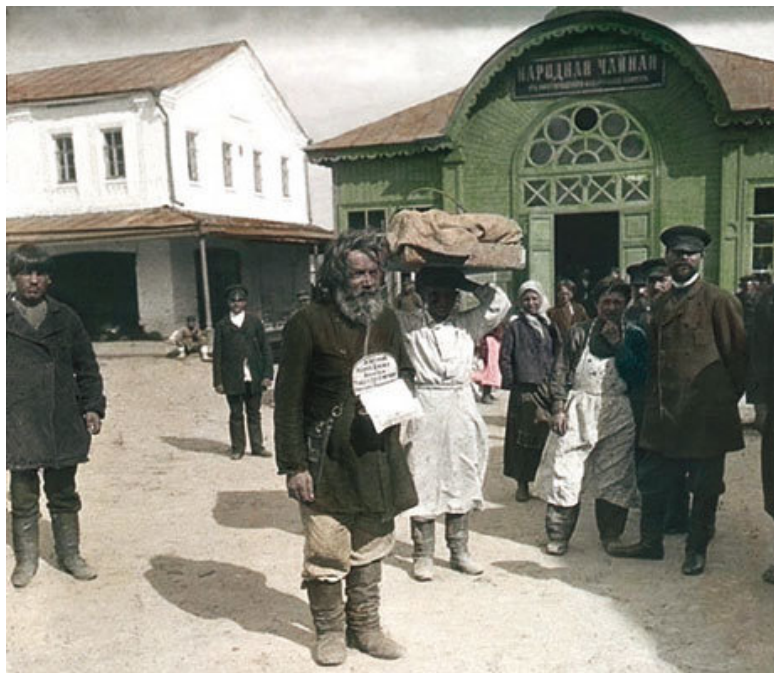
*Москва конца XIX века*

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

– Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было... Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, – прямо голыми руками бери!

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело – живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве.



## *Москвичи*

Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу на столике, стоял аршинный Будда литого золота; замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище Сиротского суда: бриллианты, жемчуг, золото, бирюза – мерами! Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Суха-

ревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг... бриллианты...

Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец года через два явился законный наследник – тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом, и давай индейца для отыскивания следов по шулерским мельницам таскать – выучил пить и играть в модную тогда стуколку... Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой – да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя как-то в дружеском разговоре с всеведущим Н. И. Пастуховым я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать.

– Кто же был этот индеец? – спрашиваю.

– Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей.

– Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?

– Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

– Разве Закревский был буддист?!

– Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого при-

несли!

Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил – и, улуча удобную минуту, подбегают к нему... Рыжий, щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина.

– Щучка здесь... с женой... Проигрался... Зло работает...

– С Аннушкой?

– Да-с... Юрка к Замайскому поступил... Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают... Выюн... Голиаф... Ватошник... Кукиш и сам Цапля. Шуруют вон, гляди...

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидела и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся как незнакомый около Смолина.

– Сегодня до кишок меня раздели... У Васьки Темного... проигрался!

– Ничего, злее воровать будешь!



Щучка опустил ему в карман кошелек.

– Аннушка сработала?

– Она... Сам не знаю, что в нем...

«Медленно раскачивается Сухаревка, входит в раж, пьянеет от выкриков, от хлыстовского ритуала купли-продажи. Уже кидает человека из стороны в сторону, только выбрался он из одной ручной толкучки, преследуем сомнительными двуногими лавками, как понесло его одним из порожистых, говорливых ручейков и прибило к тупику – и, оглушенный граммофонами, он уже шагает через горящие примусы, через рассыпанный на земле скобяной товар, через книги».

*О. Мандельштам*

– А у Цапли что?

– Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли...

– Сашку? Да он сослан в Сибирь!

– Какое! Всю зиму на Хитровке околачивался... болел...

Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил... Как одну копейку шесть больших отдал. Цапля метал... Архивариус метал. Резал Назаров.

– Расплюев!

– Да, вон он с Цаплей у палатки стоит... Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье...

– На, разживайся! – И отдал обратно кошелек.

– Вот спасибо! Век не забуду... Ведь почин дороже денег... Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копыа разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний... А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

– С добычей! Когда на новоселье позовешь?

У Цапли и лицо вытянулось.

– Сашку-то сегодня на шесть больших слопали! Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

– Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских... На что они тебе?

– Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков... Повешу в гостиной – за моих предков сойдут... Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой... сегодня снял в бельэтаже...

– Сашку на Волгу спровадили?

Добивает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проигратъся на мельницах...

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит...

– Это кто такой франт, что с Абазом стоит?

– Невский гусь... как его...

– Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

– За кем-то из купцов охотится... в «Славянском базаре» в сорокарублевом номере остановились. И Караулов с ними...

И по развалу проползет тенью Смолин.

Увидал Комара.

– Ну как твои куклы?

Все Смолин знает – не то, что где было, а что и когда будет и где...

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

\* \* \*

Из властей предержавших почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные настенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к настенным часам. Его квартира была полна настенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна

из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой.

Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов).

– Вот идиоты, – говорил Н. И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно... Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут – ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов,

а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо, и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятаку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили пять рублей,

за два рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает два кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает один рубль девяносто три копейки.

– Семи копеечек нет... Вот получите.

Знают эту систему букинисты, знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу.

А один букинист раз сказал ему:

– Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?

– Ты ничего не понимаешь! А в год-то их сколько накопится?

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудака-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.



## *Сухаревский рынок*

На этой «аристократической» части Сухаревки вперемежку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная руч-

ка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

– Что покупаете? – спрашиваю как-то его.

– Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол лют! Шушукуются по Сухаревке – и тотчас же по всему рынку а потом и по городу разнесутся нелепые рассказы и вранье. И мало того, что чужие повторяют а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

– Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народищу там!

– В беговой беседке у швейцара жена родила тройню – и все с жеребьячими головами.

– Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

– Колокол лют!



Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется.

А потом встречаются:

– Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал – на месте стоит, как стояла!

– У Финляндского на заводе большой колокол лют! Ха-ха-ха!

С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью – купить «серебряный звон», а не «на грош пятаков». Близок к нему был еще один «чайник», не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины...

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталу, серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое

колье за полсотни... Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а колье – бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

– Племянница Венеры Милосской!

– Что?!

– А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием.

...Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай, когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья набросились на крупную добычу. Это было в восьмидесятых годах.

Тогда умер знаменитый московский коллекционер М. М. Зайцевский, более сорока лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка.

За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь «новенькой старинной штучки» и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее.

Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с М. М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джигордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лессуера «Христос с детьми», картина Адри-

ана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью: «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем Барсе верхом, а на другом – в санях, запряженных Свирепым. Около на столе лежит кованая, вся в бирюзе, сбруя Свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

«...Он держал себя барином (Герасим Егорович Измайлов – известный торговец. – *Прим. ред.*) Сухаревского рынка, одевался прилично, носил пуховую шляпу, был небольшого роста, с черными усиками, волосы причесаны и напوماжены, короче, „старичок-женишок“... Держал он себя всегда, так сказать, на высокую ногу и врал артистически, не хуже Хлестакова. В его торговле трудно было найти сколько-нибудь порядочную, стоящую любительского внимания книгу; но это не мешало ему, однако же, всем и каждому

рассказывать, будто бы он имеет в особом сарае немало ценных, редких книг, да у него-де времени нет добраться до них, привести их в порядок. Спрашивай у него какую хочешь книгу, хотя бы самую редчайшую, или даже вовсе не существующую, он всегда серьезно ответит, что была у него эта книжка, и только недавно продал ее. Случалось, что покупатель приобретал какую-либо редкую книгу, заплатив, положим, рублей 10, пойдет к Измайлову и покажет ему свою покупку; наш Ганечка непременно выпалит:

– Ах, жалко! Вчера только я продал такую же, и всего-то за 3 рубля. Дорого, очень дорого взяли с вас. А мой экземпляр был получше этого!

Другой и в самом деле, не зная Измайлова, видя его внешнюю порядочность и некоторую солидность, поверит его вранью. Надо заметить, что он хорошо знал французские книги, и когда они попадали к нему, то умел извлечь и пользу хорошую. Но иногда вредил ему и собственный характер. Его самолюбие было тоже артистическое. Расскажу следующий факт. В его руки попала одна рукопись, за которую он сам заплатил 15 рублей. Приходят к нему двое известных собирателей, М. М. Зайцевский и Н. В. Г... (Последний одно время решился даже практически окунуться в наше дело, для чего и открыл было собственную торговлю.) Ганечка был выпивши. Разговорясь о делах книжных, пошли в трактир. Здесь Ганечка похвастал своим приобретением. Зайцевский, внимательно осмотрев книгу, предлагает 5 рублей. Такая оценка покорила

владельца книги. Как на грех, Н. В. Г... чем-то подзадорил Зайцевского, и последний стал давать уже только 3 рубля. Это окончательно обозлило книгопродавца, причем и высказался шибаршинский характер Измайлова, в его натуральном виде, во весь рост. Он вырвал книжку из рук Зайцевского, начал рвать ее, как попало; потом пошел в кухню и бросил в печь.

Догадливый половой случайно спас какую-то картинку и продал ее одну за 5 рублей.

Его, Измайлова, артистическое вранье вызвало у меня желание пошутить над ним. Приходит ко мне один собиратель, спрашивает иллюстрированные басни Крылова, Озерова и другие. Я ему и указал на соседа. Там-де непременно есть. В это же время Ганечка был занят трактирными удовольствиями. По этой причине рекомендованный мною субъект не заставлял его в лавке, несмотря на все свои многократные посещения. Наконец ему удалось-таки поймать в лавке самого хозяина.

– Только что продал, – по обыкновению своему отвечает Измайлов на вопрос покупателя, покуривая сигару.

– Да когда же мог ты продать? Я был у тебя десять раз, ты все в кабаке торчишь!

И пошел его ругать.

Потом спрашиваю соседа, за что ругал его этот барин.

– А черт его знает, должно быть, сумасшедший!

Вскоре после рассказанного случая он прекратил торговлю у Троицы в Полях, продолжая ее исключительно на Сухаревском рынке».

А. А. Астапов.

*Воспоминания старого букиниста*

Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон» Боккаччо, писанная по-французски в 1414 году.

После смерти владельца его наследники, не открывая музей для публики, выставили некоторые вещи в залах Исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось: частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями

и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа Ужо, коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклячить искатели «на грош пятаков», вели себя возмутительно.

Они с видом знатоков старались «овладеть» своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромной ценности вещи, говорили небрежно:

– М...н...да... Но это не особенная редкость! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется... Целковых двести дам.

Так ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала «колокола лить».

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить «на грош пятаков».

В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что Сухаревских маклаков и антикваров из переул-



ков (были названы два переулка) просят «не трудиться звонить».

Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю.

Помню еще, что сын владельца музея В. М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто – Вася Днепров.

Что он Зайцевский – об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее.

– Спасибо, – ответил я, – жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?

– Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил.

\* \* \*

Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и, чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом пе-

репродаст им же втридорога.





### *На Сухаревском рынке*

Нередко антиквары гнали его:

– Да уходите, не мешайте, дайте разложиться!

– Ужо! Ужо! – отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит, как примороженный.

Так и звали его торговцы: «Ужо!»

Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповско-го<sup>5</sup> фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его «средах», покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его

---

<sup>5</sup> Фарфоровый завод Попова.

обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного «Попова». Подделки практиковались во всех областях.

Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по три, по пяти рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов – сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей «на грош пятаков». Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей.

– Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подпи-

сывает внизу картины: «Это не Репин. И. Репин».

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей.

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки – сапожные и с готовым платьем, куда покупателя затаскивали чуть ли не силой. В ближайших переулках – склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главной же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит! Или развал: развалият нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружают, затырят, вытащат. Кричи «караул» – никто и не слушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками.

На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья! Взять хоть «играющих»: во вся-

ком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в три карты – две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок: свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красной, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная.

И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажать, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра; ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея – около нее тоже жулье.

Имеются жулики и покрупнее.

Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, а он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг, с рук на руки, и исчезает.

– Что же деньги-то, давай!

– Че-ево?

– Да деньги за шубу!

– За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум. Полушубок исчез, и требовать не с ко-

го.

Шайка сменщиков: продадут золотые часы, с пробой, или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит – часы медные и без нутра, и кольцо медное, со стеклом.

Положим, это еще Кречинский делал. Но Сухаревка выше Кречинского. Часы или булавку долго ли подменить! А вот подменить дюжину штанов – это может только Сухаревка. Делалось это так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинута связка штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных.

– Почем штаны?

– По четыре рубля. Нет, ты гляди, товар-то какой... По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него, и у него. Сейчас только вынесли.

Покупатель и у другого смотрит.

– По три рубля... пару возьму.

– Эка!

– Ну, красненькую за трое... Берешь?

– По четыре... А вот что, хошь ежели, бери всю дюжину за три красных...

У покупателя глаза разгорелись: кому ни предложи, всякий купит по три, а то и по четыре рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, – верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом.

Сторговались за четвертную. Покупатель отдает деньги,

продавец веревочкой связывает штаны... Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

– Извини, обознался, за приятеля принял!

Покупатель получает штаны и уходит. Приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними – барахло.

Сменили пачку, когда он оглянулся.

Купил «на грош пятаков»!

Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше; тут только снуют, тоже шайками, бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролетов. Обжорка – их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой... Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима – бабы поднимают сзади подолаы и окутывают голову... Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

Воспоминание о посещении Сухаревки коллекционерами: «Из московских коллекционеров тут всех чаще ходил покойный А. П. Бахрушин, человек толщины и скупости невероятной. Раз я рассматривал витрину с миниатюрами. Мне очень понравился митрополит Филарет артистически нарисованный. Я



спросил о цене – двадцать пять рублей. Для меня это было несколько дорого, и я положил вещичку обратно. Вдруг я увидел круглую, как маленький аэростат, фигуру А. П. Бахрушина, медленно шагающую в нашу сторону.

– Вот, – сказал я торговцу, – вот кому предложите. У него музей редкостей и масса миниатюр...

– Это Бахрушин-то? – с явным пренебрежением спросил, поглядев, торговец. – Я ему и показывать ничего не стану.

– Почему же?

– Дело известное. Ему надо на грош пятаков купить. Он у меня этого митрополита Филарета года два торгует. С полтинника начал и теперь до десяти рублей дошел. Да еще старается меня в ловушку поймать. „Это, – говорит, – не настоящая миниатюра – подписи нет“...»

*Н. М. Ежов*

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца – один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев – спор:

– Не дойдет!

– Дойдет!

– На пару пива?

– На сколько?

– На четверть часа.

– Пошло.

– Нет, бриться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка – пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «Бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

– Ну, недорезанный, садись! – приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

– Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить все: и шубу, и пальто, и поддевку.

– Да ведь мне ничего не надо!

– Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание

не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар – своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

– Сударыня! У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевки-с...

Дама гордо проходит мимо. Тон зазывалы меняется.

– Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. – кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы были! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и Пасху в балаганы на Девичьем поле в деды-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения – Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

– Рrrrra-rrrr-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны<sup>6</sup> – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет...

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой

---

<sup>6</sup> Женщина с бородой, которую в то время показывали в цирках и балаганах.

трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

– Чего ты чужой карман шарить?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал – и к ней.

– Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет... Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у к началу!

Сорвет бороду махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает на ходу бороду нацепляет:

– Эге-ге-гей! Публика почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Толпа замрет.

– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет.

Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою. Он мне о тветил:

– Это что, толпа – баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужик в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее – кулугуру степному, да заставь его в лавку

зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты – толпа. Толпу... зимой купаться уговорю!

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым. Она вся в этом анекдоте.

Один из посетителей шмаровинских «сред», художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

# Ночь на Цветном бульваре

Дырка в кармане! Что может быть ничтожнее этого? А случилось так, что именно эта самая маленькая, не замеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе: писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечениях», «Осколках», статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства: благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мире можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом: записывать ли ему

свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы? На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довезти меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу художнику Павлику Яковлеву.

Дорогой все время разговаривали о лошадях, — он считал меня большим знатоком и уважал за это.

От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет — подарок Андреева-Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней: ни одной живой души, когда

Осенний мелкий дождичек  
Сеет, сеет сквозь туман.

Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками.



*Ф. Алексеев. Вид церкви Никола Большой Крест на Ильинке*

В такую только ночь и можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в грачев-



ских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.

Характерно, что на всех таких дворах не держали собак... Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих «дам» «коты». Из последних притонов вербовались «составителями» громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали...

Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыс-

киваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта со вершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты шулера – составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на «мельницу» поиграть в банк – другой игры на «мельницах» не было, – а к известному часу там уж собралась стройно спевшаяся компания шулеров, приглашается и исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту, – и деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая «мельница», а кроме того, в ней в дни, не занятые «деловыми», играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход – с банка берут десять процентов. На большие «мельницы», содержимые в шикарных квартирах, «деловые ребята» из осторожности не ходили – таких «мельниц» в то время в Москве был десяток на главных улицах.



Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были восьмидесятые годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и даже покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных», революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре...

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли: оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпа-

нье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек.

– Заморился, отдохнем... Ни живой собаки нет...

– Эх, нюня дохлая! Ну, опускай...

Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего.

«Пьяного ведут», – подумал я.

Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцега, горбатого. Он качал рукой и отдувался.

– Какой здоровущий был, все руки оттянул!

А здоровущий лежал плашмя в луже.

– Фокач, бросим его тут... а то в кусты рядом...

– Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем «хазам»...

– В трубу-то вернее, и концы в воду!

– Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял за голову, маленький – за ноги, и понесли, как бревно.



— Как изменились времена!.. Я гуляю с фабрикантом и с актером больше часа и ни один не предложит мне ужина. а, бывало, в старом „Эрмитаж“ актер займет у фабриканта и угощает чаем с ковыльком, после чего фабрикант везет и меня, и актера ужинать к „Лру“!..

*С. Мухарский. «Как изменились времена!»*

Я — за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик перестал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной Неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то «труженики» остановились и бросили тело на камни.

– Поднимай решеть!

Маленький наклонился, а потом выпрямился:

– Чижало, не могу!



П р а в и л ы !

— Куда идешь?  
— Не знаю..  
— Как же не знаешь? Это дело не чисто, — понале в участок!.

— Ты куда идешь?  
— Не знаю..  
— Как же не знаешь?  
— Да, вѣдь, не могъ же я знать, что понаду в участокъ?

## *В участке*

– Эх, рвань дохлая!

Гигант рванул и сдвинул решетку.

«Эге, – сообразил я, – вот что значит: „концы в воду“».

Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар:

– Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких, продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре.

Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо. Борода и усы бритые... Большой стройный человек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку – он шевельнул пальцами. Жив!

Я еще тройной свисток – и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара – городской, должно быть, из будки... Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городской... Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге: опять провалился ножик в дырку!

И это решило дальнейшее: зря рисковать нечего, завтра узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с Безымянкой, откуда тащили тело, – второму.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под сретенской каланчой, в кабинете пристава Ларепланда. Я с ним был хорошо знаком

и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городских до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

– Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

– Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, – чтобы хлопот меньше и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали – диву даюсь! Этого никто, кроме поднявших городских да потерпевшего, не знает... А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете, – я и обер-полицмейстеру не доносил.

И рассказал мне Лареппланд, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

– Сперва думали – мертвый, положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас – в приемный покой, отходили, а утром я с ним разго-



варивал. Оказался богатый немец, в конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и дело бывает... То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут... Там капитан Капени (тоже кантонист) мой приятель, ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет – все по-старому будет, одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался – вовремя признак жизни подал!

Молодой, красивый немец... Попал в притон в нетрезвом виде, застав или его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица, – ее только он и запомнил...

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью, но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку Арженовку Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

# Дворцы, купцы и ляпинцы

Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда, на особенно людных местах, поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плитняка, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит, да и переходить незачем: переулков близко нет.

Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи.

В Богословском (Петровском) переулке с 1883 года открылся театр Корша. С девяти вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными «голубчиками», платившими городу за эту биржу крупные суммы. «Ваньки», желтоглазые погонялки — эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили «халтуру» полиции.

Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие поряд-

док, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник.

Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку: взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего. Разве только приятель-лихач угостит папироской.

Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаше других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка.

Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитенщики, тоже с негласного разрешения городского.

Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти «ночные брокеры», прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окруживших вход в общежитие.

Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах.

– Корш отходит!

Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная.

Извозчики набросились:

– Вам куды? Ваш-здоровь, с Иваном!

– Рублик. Вам куды?

Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике.

– Куды? Куды? – висит в воздухе.

Городовой ходит с видом по крайней мере командующего армией и покрикивает.

Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с бочкой...

– Куды? Назад! – покрывает шум громовой возглас городского. – А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!

И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло.

– Дрыхнешь, дьявол!

Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику...

Извозчики разъехались. Публика прошла. К сверкавшему Яблочковыми фонарями подъезду Купеческого клуба подкапывали собственные запряжки, и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны «взять воздуха» после пира.

Купеческий клуб помещался в обширном доме, принад-

лежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшем в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский Купеческий клуб в сороковых годах.

Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы... Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины...

В старину Дмитровка носила еще название Клубной улицы – на ней помещались три клуба: Английский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, потом переехавший в дом Благородного собрания; затем в дом Муравьева переехал Приказчиный клуб, а в дом Мятлева – Купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья.



*Московский извозчик. Конец XIX века*

Стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; «пополамные расстегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче, в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой: «Чтобы он с жирку не сбрыкнул!» – объяснял Иван Яковлевич.

Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославского, а телятина «банкетная» от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве.

Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, Купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконо́м клуба – Николай Агафоныч.

При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукулловский обед, сразу раздавалось несколько голосов:

– Николай Агафоныч!

Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка: черносмородинной почкой пах-

нет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая – цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый сахарный квас, а кому кислые щи – напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет.

– Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают! – говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским.

Ленечка – изобретатель кулебяки в двенадцать ярусов, каждый слой – своя начинка; и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготавливали только в Купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.

На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры – то цыганский, то венгерский, чаще же русский от «Яра». Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора.

«В жизни московского купечества певческие капеллы играли довольно большую роль.

В период молодеческого разгула, или же во время особой душевной тоски, или по необходимости угостить людей, нужных для дела, – куда ехать? Ехали



в рестораны, где имеются хоры с красивыми изящными женщинами, с непринужденными разговорами – все это с выпитым вином кружило головы купцов.

Многие из купцов поженились на певчихах, другие жили гражданским браком, имея законную жену, но не будучи счастливы с нею.

Один из хоров, особо популярный среди купечества, был хор Анны Захаровны Ивановой.

Когда я познакомился с А. З. Ивановой, она была уже немолодой женщиной, скромно, но с достоинством себя державшей. Купечество ее любило и ей доверяло, уверенное, что во время загула она постарается сохранить их и не доведет до скандала.

(...) Каждый из этих хоров имел своих поклонников и приверженцев.

Мне были известны многие купцы, поженившиеся на цыганках, и они были в семейной жизни счастливы, как, например, сын известного миллионера Петра Арсеньевича Смирнова, Николай Дмитриевич Ершов и другие, фамилии которых я не припомню теперь».

*Из воспоминаний представителя древнего купеческого рода, предпринимателя Н. А. Варенцова*

Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны.

Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из «Стрельны», потому что с цыган-

ками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь.

И венгерки тоже не нравились купечеству:

– По-каковски я с ней говорить буду?

После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители «клубнички» слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к «Яру» на лихачах и парных «голу бчиках», биржа которых по ночам была у Купеческого клуба. «Похищение сабинянок» из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от «Яра».

Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда, до Глинищевского переулка, стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие, нередко до утра, засидевшихся в клубе хозяев. Влево, до Козицкого переулка, размещались сперва лихачи и за ними гремели бубенцами парные с отлетом «голубчики» в своих окованных жестью трехместных санях.



*Летний («Белый») зал ресторана «Яръ»*

В корню – породистый рысак, а донская пристяжная – враспряжку чтоб она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась, мордой к самой земле.

И лихачи и «голубчики» знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и «голубчиков» – прямо шли, садились и ехали. А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина или от Ухарского и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу, вслед за хором, уехавшим на парных долгушах-линейках.

И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями, загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысаках перегонялись с парами и тройками.

– Эгей-гей, голубчики, грррабб-ят! – раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах и дико звучащий на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало.

Умчались к «Яру» подвыпившие за обедом любители «клубнички», картежники перебирались в игорные залы, а за «обжорным» столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыристые блюда на ужин, а накрахмаленный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь с тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он только молча дивился и своего суждения иметь не мог.

Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил.

Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим

за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи:

Видел я архив обжоры,  
Он рецептов вкусно жрать  
От Кавказа до Ижоры  
За сто лет сумел собрать.

«Вторничные» обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в «сундучный ряд» за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской.

– Пир-роги гор-ряч-чие!

В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный – произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное много лет назад.

И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб.

В семидесятых и восьмидесятых годах особенно славился «хлудовский стол», где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сы-

ном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды.

\* \* \*

А. Н. Островский в «Горячем сердце», изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение», модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера – фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые.

Библиотека эта по завещанию поступила в музей. И старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому ежедневно за лукулловскими ужинами в Купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, в длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре.

Когда карета Хлудова в девять часов вечера подъехала, как обычно, к клубу и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие

дела фирмы, живя незаметно.

Миша был притчей во языцех... Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце шестидесятых годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом, тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом М. Г. Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил, как собаку. Солдаты дивились на «вольного с тигрой», любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался.

Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял.

В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем Хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах: то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам и от чего в восторг приходили московские

дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака.

«Михаил Алексеевич Хлудов был субъект патологический: где бы ему ни приходилось жить, везде оставлял за собой ореол богатырства, удивлявший всех. Несмотря на его безумные кутежи, безобразия, в нем проглядывало нечто, что увлекало людей, им интересовались, с любопытством старались разобраться в его личности; его беспредельная храбрость и непомерная физическая сила, которую он употреблял ради только своих личных переживаний, удивляли всех; поражало его магическое влияние на хищных зверей, подчинявшихся ему, дрожа при одном его взгляде.

Из-за любви сильных ощущений он имел ручных тигров, свободно разгуливающих по его громадному особняку, наводя на посещающих его ужас. Бывали случаи, когда они перескакивали через каменный забор Хлудовского сада и попадали в соседний сад дома Борисовского, наводя на гуляющих там детей и взрослых панику.

В доме Хлудова случился пожар, приехавшие пожарные быстро вбежали в дом, встреченные двумя тиграми, обратившими их в бегство. Как-то по какому-то делу к М. А. Хлудову приехал Н. А. Найденов, лакей проводил его в кабинет хозяина, тот закурил папиросу, спокойно ожидал прихода Хлудова. Дверь



распахнулась, и вместо хозяина является тигр, спокойно направляющийся к нему; нужно представить себе, что пережил в эти минуты Найденов, не отличаясь большой храбростью; дома говорили, что после этого посещения пришлось сделать ванну.

Возмущенный Найденов пошел к генерал-губернатору В. А. Долгорукову с просьбой о пресечении хлудовского самодурства; та же просьба последовала к обер-полицмейстеру от пожарного брандмайора. Долгоруков вызвал Хлудова и предложил ему отдать тигров в Зоологический сад или поместить в железную клетку. Хлудов одного отдал в Зоологический сад, а другого застрелил, как говорили, ночью тигр лизал ему руку и этим вызвал на руке его кровь, проснувшийся Михаил Алексеевич увидел тигра в сильном волнении, возбужденного видом крови, готового на него броситься. Хлудов схватил револьвер, лежавший всегда у него на тумбочке, и застрелил тигра.

На фабрике в Ярцеве у него был ручной волк, тоже свободно расхаживающий по дому, и, вскакивая передними лапами на стол, где был накрыт чай для гостей, с пирогами и печениями, и пожирал их, при смехе хозяина. Однажды вечером, когда к нему собрались гости, сидели за чаем в столовой, Михаил Алексеевич внезапно встал и вышел. Вернувшись через некоторое время, все заметили его бледность и разорванный сюртук на рукаве и спине. Его спросили: „Что это с вами?“ – „Ничего, – ответил он, – немножко поборолся с медведем“, – которого, как оказалось, он

держал в подвальном этаже дома».

*Из воспоминаний представителя древнего купеческого рода,  
предпринимателя Н. А. Варенцова*

В 1875 году начались события на Балканах: восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана Третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор, в Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову, последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы – до границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем.

Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену:

– Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским «Георгием» и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан.

– Ты к Черняеву? К Мише? – спрашивает меня.

Я отвечаю утвердительно.

— Ну так это все равно, и он Миша, и я Миша. На, пей.  
Налил стакан рому. Я отказываюсь.

— Не пьешь? Стало быть, ты дурак. — И залпом выпил стакан.

А из палатки выглянул Черняев и крикнул:

— Мишка, пошел спать!

— Слушаю, ваше превосходительство. — И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке.

Вернулся Хлудов в Москву, женился во второй раз, тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды.

И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик сажени две длины, рабочие сорвали крышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился... огромный крокодил.

Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана

коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка.

Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла...

\* \* \*

Все это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители «вторничных» обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц.

Таков был один из Фирсановых. За скупость его звали «костяная яичница». Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарעד и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, и миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте, недалеко от товарной станции железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно.

В минуту откровенности он говорил:

– Ох, мученье, а не жизнь с деньгами. В другой раз я

проснись и давай на счетах прикидывать. В день сто тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда, не беспокоишься о них – знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит. Примерно, привезет из моего имения приказчик продукты, ну, масла, овса, муки... Примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза... На чай, вишь, – привычка у них такая – дожидается!.. Ну, вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему жалованье плачу, за что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрепя сердце и дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься, за что даром гривенник пропал. Ну вот, я и удумал, да так уж и начал делать: дам приказчику три копейки и скажу: «Вот тебе три копейки, добавь свои две, пойдй в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие, сколько хочешь».

В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим «руки вверх», они прошли к «самому» в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали:

– Отпирай шкаф!

Он так рассказывал об этом случае:



- Цыпленка хотите?  
— Нетъ, я, знаете, предпочитаю „карасей!“

*С. Мухарский. В отдельном кабинете*

– Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег не жаль: боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали тысяч десять с лишком, меня самого обыскали, часы золотые с цепочкой сняли, приказали четверть часа не выходить из конторы... А когда они ушли, уж и хохотал я, как их надул: пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал десять золотых, успел со стола схватить... Не догадались кулак-то разжать! Вот как я их надул!.. Хи-хи-хи! – и раскатывался дробным смехом.

Над ним, по купеческой привычке, иногда потешались, но он ни на кого не обижался.

Не таков был его однофамилец, с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали: Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хоть не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на «вторничные» обеды года два, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды: старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши.

В числе обедающих на этот раз был антрепренер Ф. А. Корш, часто бывавший в клубе; он как раз сидел против Рыжеусова.

– Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?

– Помилуйте, Федор Адамыч, бываю изредка... Вот на это

воскресенье велел для ребятишек ложу взять. Что у вас пойдет?

– В воскресенье? «Женитьба».

– Что-о?

– «Женитьба» Гоголя...

– Ну и зачем вы эту мерзость ставите?

Ф. А. Корш даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол приснул от смеха.

– Подлецы вы все, вот что! Сволочь! – взвизгнул Рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба.

Хохот продолжался, и удивленному Ф. А. Коршу напереыв рассказывали причину побега Рыжеусова.

Года два назад за ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством.

– А мне дупеля! – говорит он повару, вызванному для приема заказов.

– Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель? – спрашивает кто-то.

– Конечно, знаю... Птиченка сама по себе махонькая, так с рябчонка, а ноги во-о какие, а потом нос во-о какой!

Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался.

Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля.

– А нос где? – спрашивает Паша, кладя на тарелку неболь-



шую птичку с длинными ногами.

– Зимой у дупеля голова отрезается... Едок, а этого не знаешь, – поясняет Королев.

– А!

Начинает есть и, наконец, отрезает ногу.

– Почему нога нитками пришита?.. И другая тоже? – спрашивает у официанта Паша.

Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет:

– Потому, что я приказал к рябчику пришить петушью ногу.

Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой клочки Рыжеусову не было, как «Нога петушья»!

Однажды затащили его приятели в Малый театр на «Женитьбу», и он услышал: «У вас нога петушья!» – вскочил и убежал из театра.

Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательски ругался:

– Ему! Надсмешнику!

Бывал на «вторничных» обедах еще один чудак, Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по «военногосударственному», как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калачников и булочников – гвардией, а хлебопеков – гарни-

зоном.

Наказания провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи.

Наказания были разные: каторжные работы – значит, отхожие места и помойки чистить, ссылка – перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав – уменьшением содержания, а смертная казнь – отказом от места.

Все старшие служащие носили имена героев и государственных людей: Скобелев, Гурко, Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалованье писалось:

Александр Македонский – крендельщик – 6 рублей

Гурко – калашник – 6

Наполеон – водовоз – 4

Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все «герои» держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих.

Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи!

Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел расшевелить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда.

«Неразлучники» – звали их. Было у них еще одно прозвание – «чет и нечет», но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми.



*Шутливый отпускной билет а посещение загородных ресторанов. Из коллекции ресторана «Яръ»*

Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне, надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы.

Братья Ляпины – старики, почти одногодки. Старший – Михаил Иллиодорович – толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливецва, вместо волос «какие-то перья растут».

Младший – Николай – энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела...

История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных смолоду.

Ляпины родом крестьяне не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во время одного из своих путешествий, он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги.

Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции, и, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операции.

А все-таки Михаил Иллиодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал: причина болезни была одна – объедение.



В половине восьмидесятых годов выдалась бесснежная зима. На масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням – резиновых шин тогда не знали.

В пятницу и субботу на масленой вся улица между Купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы.

Из-под соломы не было видно даже поперечного гранитного тротуара, который, только для своего удобства, Ляпины провели в Купеческий клуб от своего подъезда.

И вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину.

Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком.

Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал.

Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о «вторничном» обеде и о том, что братец понатужился блинами, – так, десяточка на два перед обедом.

– Это что? – закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью.

– Клопик-с... – сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного.

– Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите спальню в светлую комнату! В гостиную! В зал!

Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал:

– Завтра можешь встать!

Взял пятьсот рублей за визит и уехал.

На другой день к вечеру солома с улицы была убрана, но предписание Захарьина братья не исполнили: спален своих не перевели...

Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждое отражало свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели:

– Пожарные по Столешникову вниз поехали.

– Студент к подъезду подошел.

Николай уезжал по утрам на Ильинку, в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар – прямо без доклада. Михаил Иллиодорович всегда сам разговаривал с посетителями.



### *Отдельный кабинет ресторана «Яръ»*

Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие.

Швейцар знал, кого пустить, тем более что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале.

Входит в зал бедно одетый юноша.

– Пожить бы у вас...

– Что же, можно. А вы кто такой будете?

Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров, а если ученик шко-

лы живописи, спросит – в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет.

– Так-с! Значит, пожить у нас хотите?

Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансии, даст записку.

– Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь.

На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце семидесятых годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников Училища живописи и ваяния.

Поселится юноша и до окончания курса живет, да и кончившие курс иногда оставались и жили в «Ляпинке» до получения места.

Вообще среди учащихся немногие были обеспечены – большинство беднота. И студенты, и ученики Училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную.

Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнатам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Из-



любленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквям. Все жили по-товарищески: у кого заведется рублишко, тот и угощает.

Многие студенты завидовали ляпинцам – туда попадали только счастливы: всегда полно, очереди не дождешься.

Много из «Ляпинки» вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих «Ляпинка» спасла от нужды и гибели.

Были и «вечные ляпинцы». Были три художника – Л., Б. и Х., которые по десять-пятнадцать лет жили в «Ляпинке» и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые... Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке.

«Ляпинка» была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах...

\* \* \*

В восьмидесятые годы, кажется в 1884 году, Московский

университет окончил доктор Владимиров, семинарист, родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару, от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица портниха. Утром, около четырех-пяти часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов (какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников), обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил:

– Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам гуляющим вдоль бульвара?

– А оттого, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь.

\* \* \*

Грязно, конечно, было в «Ляпинке», зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, сто-

лики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги.

Внизу была столовая, где подавался за пятнадцать копеек в два блюда мясной обед – щи и каша, бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и «крамольные» речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в «Ляпинку» и читались открыто: сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют окружают и давай делать допрос по-ляпински: отбили охоту у сыщиков. Тем не менее в «Ляпинке» бывали обыски и нередко арестовывалась молодежь, но жандармы старались это делать, из боязни столкновения, не в самом помещении, а на улице, – ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала «Ляпинка», принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в «Ляпинку» ученика Училища живописи, – а к художникам они благоволители особенно.



На одной из ученических выставок в Училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая: каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посредине – озеро цвета застывшей крови. Автор картины – неуклюжий, оборванный человечек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно-дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волостным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке, при конюшне.

Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в пятьдесят рублей, но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так:

– Жемчужина школы!

И погибла эта жемчужина школы.

Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз

он слышал ужасное слово: «Дармояд».

И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела: из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал сто рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья – а их было у него очень мало – рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен... Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище пятьдесят рублей, мы, может быть, увидели бы крупного, оригинального художника – это ждали и Савицкий, и товарищи, верившие в его талант...

Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгуева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель «Ляпинки»... Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки: заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый... С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение «Ильинское» на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Волгуев. На рож-

дественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгушева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене.

Подозвали Волгушева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство.

– Какая цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести, – сказал Сергей Александрович.

– Пятьсот рублей, – отрезал Волгушев, продолжая вертеть княжескую пуговицу.

– Это слишком дорого.

– А дорого, так и не надо, дешевле не продам! – Волгушев бросил вертеть пуговицу и отошел.

Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии, она объявлена была в сто рублей. На это указали Волгушеву:

– Знаю; всякому другому – сто, а этому – пятьсот. Уж очень он важен... Я тоже важничать умею...

\* \* \*

Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса В. А. Серова. Автор его тоже жил в «Ляпинке».

Портрет этот – молодая девица в белом платье на белом фоне, в белой раме – произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора: ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день в том же своем единственном пиджаке он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки попервоначалу, художник наконец поободрился, стал разговаривать, дама много расспрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку.

– Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать.

– Водка, селедка, огурцы, колбаса, и, пожалуй, пивка бы хорошо. Чаю не надо. А сколько позвать? Человек пяток не много?

– Да что вы? Сколько хотите зовите: чем больше, тем лучше.

– Я и тридцать наберу!

– Вот на тридцать и приготовим, очень рада.

В назначенный день к семи часам вечера приперла из «Ляпинки» артель в тридцать человек. Швейцар в ужасе, ничего не пускает. Выручила появившаяся хозяйка дома, и княжеский швейцар в щегольской ливрее снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал.



Только места для калош остались пустыми.

Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол, уставленный всевозможными закусками, винами, пивом, водкой. Хозяйка и две ее знакомые дамы заняли места в конце стола. Предусмотрительно устроитель вечера усадил среди дам двух нарочно приглашенных неляпинцев, франтов-художников, красавцев, вращавшихся в светском обществе, которые заняли хозяйку дома и бывших с ней дам; больше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно притворив дверь.

С каждой рюмкой компания оживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко «родителей помянуть». Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и «Атамоныч» побрел в свою «Ляпинку», благо это было близко. Еще человек шесть «тактично» вы проводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить.

Долго об этой пирушке вспоминали ее участники.

\* \* \*

Были у ляпинцев и свои развлечения – театр Корша присылал им пять раз в неделю бесплатные билеты на галерку,

а цирк Саламонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал двадцать медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то одну копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копей ки шли, никто не знал.

Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки.

Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины «Ляпинки» ночевало в пересыльной тюрьме.

## «Среды» художников

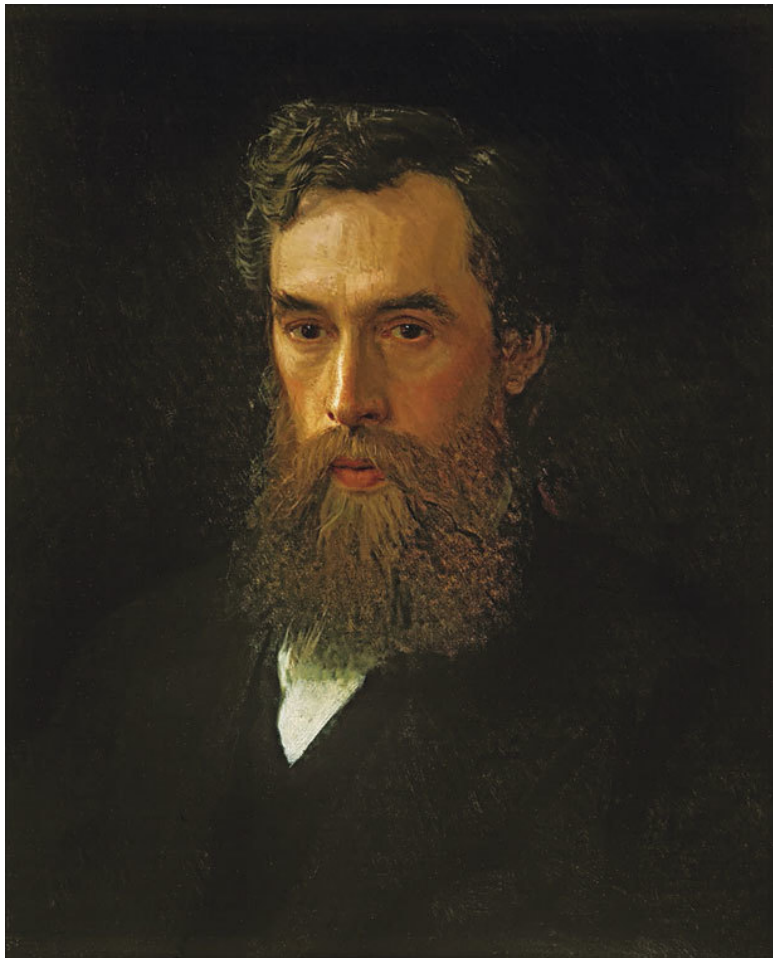
За Нарышкинским сквером, на углу Малой Дмитровки, против Страстного монастыря, в старинном барском доме много лет помещалось «Общество любителей художеств», которое здесь устраивало модные тогда «Периодические выставки».

На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало «пятницы», на которые по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они, «уставя бороды свои» в пюпитры, молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами.

Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей-певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества: Маковские, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены Общества – богатеи-меценаты П. М. Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому «пятницы» были нудны и скучны – недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель К. С. Шиловский, впоследствии актер Малого театра Лошивский, человек живой, талантливый, высокообразованный. Он скучал на этих

заседаниях и вот как-то пригласил кое-кого из членов «пятниц» к себе на «субботу».

И стали у него на квартире, в Пименовском переулке, собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение; много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На «субботах» бывал В. Е. Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставок он первый «углядел» Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью Училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали также и большие художники. Как-то на «субботе» Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую «среду», и так постепенно «пятницы» заглохли и обезлюдели. «Субботы» Шиловского, которые так увлекли художников попервоначально, тоже не привились. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами – художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке.



*И. Крамской. Портрет П. М. Третьякова*

«Среды» Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом «среды», чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, «дядя Володя», был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем.

На «средах» все художники весь вечер рисовали акварель: Левитан – пейзаж, француз баталист Дик де Лонлей – боевую сценку, Клод – карикатуру, Шестеркин – натюрморт, Богатов, Ягужинский и т. д. – всякий свое. На рисунке проставлялась цена, которую получал художник за свою акварель, – от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале «для обозрения публики», а перед ужином устраивалась лотерея, по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два – каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана! Оставшиеся картины продавались в магазинах Дациаро и Аванцо. Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости. И каждый посетитель «сред» сознавал, что он пьет-ест не даром.

На «субботах» и «средах» бывала почти одна и та же публика. На «субботах» пили и ели под звуки бубна, а на «средах» пили из «кубка Большого орла» под звуки гимна «среды», состоявшего из одной строчки – «Недурно пущено», на музыку «Та-ра-ра-бум-бия».

И вот на одну из «сред» в 1886 году явился в разгар дружеской беседы К. С. Шиловский и сказал В. Е. Шмаровину: – Орел и бубен должны быть вместе, пусть будут они у тебя на «средах».

«Субботы» кончились – и остались «среды».

Почетный «кубок Большого орла» на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены «среды» и выпивался под пение гимна «Недурно пущено» и грохот бубна...

Это был обряд «посвящения» в члены кружка. Так же подносился «Орел» почетным гостям или любому из участников «сред», отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. Весело зажили «среды». Собирались, рисовали, пили и пели до утра.

В артистическом мире около этого времени образовалось «Общество искусства и литературы», многие из членов которого были членами «среды».

В 1888 году «Общество искусства и литературы» устроило в Благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорация, обстановка, художественный грим – все было сделано исключительно членами «среды».

И. Левитан, Голоушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали не покладая рук. Бал удался – «среда» окрепла.

В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали

по «средам» художники свои акварели, В. Е. Шмаровин положил лист бристоля и витиевато написал сверху: «1-я среда 1894-го года». Его сейчас же заполнили рисунками присутствующие. Это был первый протокол «среды».

Каждая «среда» с той поры имела свой протокол... Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников, писали стихи поэты. М. А. Лохвицкая, Е. А. Буланина, В. Я. Брюсов записали на протоколах по несколько стихотворений.

Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на «среды» стало собираться по сто и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало «сред».

На звонок посетителей «сред» выходил В. Е. Шмаровин. – Ну вот, друг, спасибо, что пришел! А то без тебя чего-то не хватало... Иди погрейся с морозца, – встречал он обычно пришедшего.

Кругом все знакомые... Приветствуя, В. Е. Шмаровин иногда становится перед вошедшим: в одной руке серебряная стопочка допетровских времен, а в другой – екатерининский штоф, «квинтель», как называли его на «средах».

*Среди приглашенных на бал был А. П. Чехов. В письме Суворину он оставил саркастическое описание этого мероприятия:*

«Вернулся я с бала. Цель общества – „единение“. Один ученый немец приучил кошку, мышь, кобчика



и воробья есть из одной тарелки. У этого немца была система, а у общества никакой. Скучища смертная. Все слонялись по комнатам и делали вид, что им не скучно. Какая-то барышня пела, Ленский читал мой рассказ (причем один из слушателей сказал: „Довольно слабый рассказ!“), а Левинский имел глупость и жестокость перебить его словами: „А вот и сам автор! Позвольте вам представить“, и слушатель провалился сквозь землю от конфуза), танцевали, ели плохой ужин, были обсчитаны лакеями... Если актеры, художники и литераторы в самом деле составляют лучшую часть общества, то жаль. Хорошо должно быть общество, если его лучшая часть так бедна красками, желаниями, намерениями, так бедна вкусом, красивыми женщинами, инициативой... Поставили в передней японское чучело, ткнули в угол китайский зонт, повесили на перила лестницы ковер и думают, что это художественно. Китайский зонт есть, а газет нет. Если художник в убранстве своей квартиры не идет дальше музейного чучела с алебардой, щитов и вееров на стенах, если всё это не случайно, а прочувствовано и подчеркнуто, то это не художник, а священнодействующая обезьяна».

*К. С. Станиславский был одним из основателей «Общества искусства и литературы» и устройтелем бала в честь этого события:*

«В конце 1888 года среди зимнего сезона состоялось торжественное открытие нашего Общества искусства

и литературы в превосходно отделанном помещении, в центре которого был большой театральный зал (он же и зал для танцев). Вокруг него были расположены фойе и большая комната для художников. Они сами расписывали стены; по их рисункам была заказана мебель и обстановка. В этом причудливом уголке они собирались, писали эскизы, которые тут же, во время семейного вечера, продавали с аукциона, а на вырученные деньги ужинали.

Артисты всех театров тем временем читали и играли разные сценки, придумывали экспромты и шарады, другие пели, третьи танцевали, причем занимало всех то, что драматические артисты часто выступали в качестве танцоров и оперных, балетные – в качестве драматических.

Вся интеллигенция была налицо в вечер открытия Общества. Благодарили учредителей его, и меня в частности, за то, что мы соединили всех под одним кровом; нас уверяли, что давно ждали этого слияния артистов с художниками, музыкантами и учеными. В прессе открытие было встречено восторженно. Через несколько дней состоялся первый спектакль драматического отдела Общества. Он имеет свою маленькую историю, которую мне хочется рассказать».

Основная масса гостей являлась часов в десять. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться... Выходит сам «дядя Володя», целуется... Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами... Посредине стол, ярко

освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников – кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет... Кругом стола ходили гости, смотрели на работу... Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот «кто-нибудь» обязательно известность музыкального мира: или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель – и еще веселее работает под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше, или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости... Лежат бубен, гитары, балалайки... Через коридор идут в столовую, где кипит самовар, хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем. А дальше комната, откуда слышатся звуки арфы, – это дочь хозяйки играет для собравшихся подруг... Позднее она будет играть в квартете, вместе со знаменитостями, в большом зале молчановского особняка.

Была еще комната: «мертвецкая».

Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам – разные ископаемые курганные древности, целые плато старинных серег и колец, оружие – начиная от каменного века – кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы.

Вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку... Кто-нибудь бренчит

на балалайке, кое-кто дремлет. А «мертвецкой» звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали, кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому...

В полночь раздавались удары бубна в руках «дяди Володи»... Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через десять минут еще бубен...

Убираются кисти, бумага; рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам – в зале накрывают ужин... На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы: жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, – собачья радость, пятки пилигрима... Водки: горилка, брыкаловка, сногшибаловка, трын-травная и другие... Наливки; шмаровка, настоящая на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане... Вина: из собственных садов «среды», с берегов моря житейского, розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) тела птичьи индейские на кости; 3) рыба лабардан, соус – китовые по плавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Марья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое «недурно пущено». На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек – все это десятками лет собиралось В. Е. Шмаровиным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом, перед ним сидел сам «дядя Володя», а дежурный

по «среде» виночерпий разливал пиво. Пили. Ели. Вставал «дядя Володя», звякал в бубен. Все затихало.

– Дорогие товарищи, за вами речь.

И указывал на кого-нибудь, не предупреждая, – приходилось говорить. А художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном... Скажет кто хорошо – стол кричит.

– «Орла!»

Кубок пьется под музыку и общее пение гимна «Недурно пущен о».

Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли... Бочонок давно пуст... Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет «дядя Володя». Поэт «среды» подписывает рисунок на законченном протоколе:

Да, час расставанья пришел,  
День занимается белый,  
Бочонок стоит опустелый,  
Стоит опустелый «Орел»...

Вчера на «шмаровинской» среде происходило чествование состоящего там сочленом со дня основания «сред» В. А. Гиляровского. В одном из углов зала под громадным акварельным портретом юбиляра был

устроен посвященный ему шуточный «исторический» музей.

Тут было и перо, которым юбиляр написал свое первое произведение, первый литературный гонорар, стрем, которое служило юбиляру во время турецкой кампании, трубка деда юбиляра и т. д.

В. А. был шумно встречен кружком. После приветственного гимна его приветствовал задушевной речью хозяин «сред» В. Е. Шмаровин.

Покаюсь, грешный человек, –  
Люблю кипучий, шумный век!  
Всегда в работе и азарте,  
Порой судьбу вверяю карте,  
Со всех концов себя палю,  
Готов последнему рублю  
Уладить место за буфетом,  
Прожить в столице пыльной летом,  
Хватить с приятелем вина,  
И срезать пулей кабана  
В кубанских плавнях с калмыками.  
Скакать по степи за волками,  
Потом напиться по пути,  
Не спать ночей по десяти  
За баккара иль за работой,  
И все с любовью, все с охотой  
Всем увлекаюсь, нервы рву,  
И в удовольствие живу.  
Порой в элегии печальной  
Я юности припомню дальней  
И увлечения и мечты...

И снова в вихре суеты  
Пишу, гуляю, увлекаюсь,  
И к докторам не обращаюсь,  
И все храню запасы сил!..  
А я ли жизни не хватил,  
Когда дрова в лесу пилил,  
Тащил по Волге барки с хлебом,  
Спал по ночлежкам, спал под небом,  
Простым матросом в море шлялся,  
В боях турецких закалялся,  
Храня предания отцов...  
Все тот же я в конце концов,  
Всегда в заботе и труде  
И отдыхаю на «среде»!..

Ему отвечали тоже стихами, пением. Группа гостей была снята фотографом. После «чествования» художники приступили к обычным работам.

*«Московские вести». 10 декабря (27 ноября) 1908 года*

1922 год. Все-таки собирались «среды». Это уж было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской, в квартире С. Н. Лентовской. «Среды» назначались не регулярно. Время от времени «дядя Володя» присылал приглашения, заканчивавшиеся так:

«22 февраля, в среду, на „среде“ чаепитие. Условия следующие: 1) самовар и чай от „среды“; 2) сахар и все иное съедобное, смотря по аппетиту прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбранном...»

# Начинающие художники

Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самое большое покупкой картин для своих галерей и «галдарей», выторговывая каждый грош.

Настоящим меценатом, кроме П. М. Третьякова и К. Т. Солдатенкова, был С. И. Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий.

Около него составилась кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии.

Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам.

– Примамонтились, воротнички накрахмалили! – говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова.

Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство дети неимущих родителей – крестьяне, мещане, попавшие в Училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквях. Таков



был С. И. Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании, надежда училища. Много их было таких.

Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени.

По происхождению – касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от Общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот.

Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой – прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили.

В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место – приходит тоже, живет временно, до работы.

В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству и на посылушках, и краску терли, и крыши красили, но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали

с натуры.

Немало вышло из учеников С. И. Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь.

Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукирев и другие, а известный художник Саврасов жил у него целыми месяцами.

В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к С. И. Грибкову. Друзья обнимались, а потом А. К. Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление.

Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах, по заказам буфетчиков, за водку и еду.

Всем помогал С. И. Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам: в доме не оказалось ни гроша.

А при жизни С. И. Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого В. В. Пукирева и он жил

в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, С. И. Грибков каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей с кем-нибудь из своих учеников. О В. В. Пукиреве С. И. Грибков всегда говорил с восторгом:

– Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский. Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского, – и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же!

Товарищ и друг В. В. Пукирева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора: этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты В. В. Пукирева, а стоящий со скрещенными руками – это сам В. В. Пукирев, как живой.

У С. И. Грибкова начал свою художественную карьеру и Н. И. Струнников, поступивший к нему в ученики четырнадцатилетним мальчиком. Так же, как и все, был «на побегушках», был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз С. И. Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину.

Картина В. Пукирева «Неравный брак» наделала много шума. Москва наполнилась слухами, история создания картины обросла легендами. Все гадали – кого же все-таки изобразил художник: свою невесту или чужую, если чужую, то чью именно. Гиляровский придерживался распространенного в то время мнения,

что молодая девушка – невеста В. Пукирева. Однако... Есть и другая версия, согласно которой, юная невеста – это возлюбленная друга живописца Сергея Михайловича Варенцова Софья Николаевна Рыбникова. Девушка, повинаясь воле родителей, вышла замуж за состоятельного купца Андрея Александровича Корзинкина, человека рассудительного, но доброго и мягкого. Ради справедливости стоит заметить, что брак оказался счастливым. Естественно замужество любимой угнетало Варенцова, и Пукирев являлся свидетелем его душевных терзаний. Оба друга, однако, присутствовали на свадьбе Софьи Николаевны и Андрея Александровича, мало того – Варенцов выступал на ней в роли шафера, поскольку его старший брат был женат на сестре жениха. Впечатлительный Пукирев увековечил эту любовную историю в своей картине, заменив 37-летнего Корзинкина на старика-генерала. Шафер, стоящий со скрещенными на груди руками, – по одной версии, Варенцов, по другой – сам автор картины, а невесту художник писал с Прасковьи Матвеевны Варенцовой, в которую был влюблен.

В это время к нему приехал П. М. Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав П. М. Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и галоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу:

– Кланяйся в ноги, на колени перед ним. Ты знаешь, кто

это?

Н. И. Струнников в недоумении упирался, но П. М. Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал:

– Здравствуйте, молодой художник!

Портрет Тропинина П. М. Третьяков купил тут же за четыреста рублей, а антиквар, когда ушел П. М. Третьяков, за метался по комнате и заскулил:

– А-ах, продешевил, а-ах, продешевил!

Н. И. Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего не легко. После С. И. Грибкова он поступил в Училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Брокара, владельца большой художественной галереи.



*В. Пукирев. Неравный брак*





За работу Н. И. Струнникову Брокер денег не давал, а только платил за него пятьдесят рублей в училище и содержал «на всем готовом». А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, – так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Н. И. Струнников и пришел к Брокеру:  
– Я ухожу.

Брокер молча вынул из кармана двадцать пять рублей. Н. И. Струнников отказался.

– Возьмите обратно.

Брокер молча вынул бумажник и прибавил еще пятьдесят рублей. Н. И. Струнников взял, молча повернулся и ушел.

Не легка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни.

Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, «люди в крахмальных воротничках». У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным.

У Жуковых, Волгушевых и других таких – имя их легион – ни того, ни другого.

Воспитание в детстве было получить негде, а образование Училище живописи не давало, программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование как на пустяки, – были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование – вещь второстепенная.

Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты – и ладно. Уменья мало-мальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всякому приличному обществу – «крахмальным воротничкам» и вместе – к образованию. До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться. Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого... Разве не от этих условий погибли Жуков, Волгушев? А таких были сотни, погибавших без средств и всякой поддержки.

Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для И. Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. И. И. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедном, но талантливым и веселом. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи.

Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил – прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Прекло-

нялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и А. С. Степанова.

Его мастерская в Училище живописи помещалась во флигельке, направо от ворот с Юшкова переулка.

Огромная несуразная комната. Холодно. Печка дымит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное: козел, овца, собака, петух... А то – лисичка. Юркая, с веселыми глазами, сидит и оглядывается; вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее и посреди сам А. С. Степанов делает замечания, указывает.

Ученики у А. С. Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно оттого, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной, и, кажется, сознательно послушной.

Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов «под воротами». Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их было девать некуда, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда среди школьных этюдов вещи прекрасные.

Ученические выставки бывали раз в году – с 25 декабря

по 7 января. Они возникли еще в семидесятых годах, но особенно стали популярны с начала восьмидесятых годов, когда на них уже обозначились имена И. Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова (брата писателя).

На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в Училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквям расписывать стены.

Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись только на продажу своих картин.

Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому не ведомые москвичи приобретали дешевые картины, иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность.

Это был спорт: угадать знаменитость, все равно что выиг-

рать двести тысяч. Был один год (кажется, выставка 1897 года), когда все лучшие картины закупили московские «иностранны»: Прове, Гутхейль, Кноп, Катуар, Брокер, Гоппер, Мориц, Шмидт.

В 1891 году Генрих Афанасьевич Брокер открыл в Торговых рядах (ныне ГУМ) картинную галерею.

22 марта 1891 года газета «Новости дня» опубликовала отчет об ее открытии, отмечалось, что среди 5000 выставленных образцов искусства были: «...портреты правителей и королей всех эпох... шедевры живописи всех школ, направлений и эпох... старинный фарфор – севрский, саксонский и русский; скульптурные группы из Севра; мебель в стиле Буль, пуф-жардиньер эпохи Екатерины II; оригинальные картины из раковин... серьги всех времен... бронзовые статуи разных времен, между которыми две статуэтки из цельных кусков слоновой кости... изделия из слоновой кости... миниатюры, мозаики, дамские безделушки редких форм, инкрустированные вещицы... 1000 акварелей различных школ и эпох, ткани и шитье разных времен, серебряно-вызолоченная сбруя с березой, коллекция старинного оружия... гостиная Людовика XVI, комнатный гарнитур из белого мрамора, панно и фрески... столовый дамский гарнитур... целая коллекция канделябров, ваз, часов разных времен, гобелены... табакерки, французские вееры... серебряные сервизы, шар с фарфоровыми статуэтками... хрусталь, стекло, гербы разных

дворянских родов...»

После выставки счастливицы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом – с Моисеевной.

Во дворе дома Училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.

Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горячей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанья. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем.

– Ты уж принеси... а то я забуду, – говорила она.

Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без говядины одиннадцать копеек. На второе – то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.

Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь одиннадцать копеек и за платят. После выставок все расплачивались обязательно.

Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги.

– Это ты, батюшка, за что же?

– Должен тебе, Моисеевна, получи!

– Да ты кто будешь-то? – И всматривается в лицо подследоватыми глазами.

Дочка узнает скорее и называет фамилию. А то сам скажется.

– Ах ты батюшки, да это, Санька, ты? А я и не узнала было... Ишь франт какой!.. Да что ты мне много даешь?

– Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел.

– Ну вот и спасибо, соколик!

# На Трубе

...Ехали бояре с папиросками в зубах.

Местная полиция на улице была...

Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале шестидесятых годов прошлого столетия.

Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя папиросы раскуривают а два городских лошадей останавливают.

Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах, виновных отправляли в полицию, «несмотря на чин и звание», как было напечатано в приказе обер-полицмейстера, опубликованном в газетах.

Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров: курильщики в испуге бросали папиросы куда попало.

В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде.

– То ли дело нюхануть! И везде можно, и дома воздух не портишь... А главное, дешево и сердито!

Встречаются на улице даже мало знакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжать знакомство – табакерочку вынимают.

– Одолжайтесь.



– Хорош. А ну-ка моего...

Хлопнет по крышке, откроет.

– А ваш лучше. Мой-то костромской мятный. С канупером табачок, по крепости – вырви глаз.

– Вот его сиятельство князь Урусов – я им овес поставляю – угощали меня из жалованной золотой табакерки Хра... Хра... Да... Храппе.

– Раппе. Парижский. Знаю.

– Ну вот... Духовит, да не заборист. Не понравился... Ну я и говорю: «Ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим...» Да вот эту самую мою анютку с хвостиком, берестяную – и подношу... Зарядил князь в обе, глаза вытаращил – и еще зарядил. Да как чихнет!.. Чихает, а сам вперевод спрашивает: «Какой такой табак?.. Аглецкий?..» А я ему и говорю: «Ваш французский Храппе – а мой доморощенный – Бутатре»... И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой Храппе бросил – на «самтре» перешел, первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся... Потом будочника в квартальные вывел...



*М. Нестеров. Кремль зимой*

В продаже были разные табаки: Ярославский – Дунаева

и Вахрамеева, Костромской – Чумакова, Владимирский – Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в «картузах с казенной бандеролью», а все-таки в Москве нюхали больше или «бутатре» или просто «самтре», сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаха по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов.

Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал пономарь, живший во дворе церкви Троицы-Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привести целиком.

«Купить полсажени осиновых дров и сжечь их, просеять эту золу через сито в особую посуду.

Взять листового табаку махорки десять фунтов, немного его подсушить (взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную) и этот табак класть в горшок и тереть, до тех пор тереть, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся: когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызнова просеять и высевки опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соеди-

нить золу с табаком так: два стакана табаку и один стакан золы, ссыпать это в горшок, смачивая водой стакан с осью, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так: взять четверть фунта эликсиру соснового масла, два золотника розового масла и один фунт розовой воды самой лучшей. Сосновое масло, один золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно; смесь эту, взбалтывая, подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать.

Когда весь табак перетрется со смесью, его вспрыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки; насыпав в бутылки табак, закубрить его пробкой и завязать пузырем, поставить их на печь дней на пять или на шесть, а на ночь в печку ставить, класть их надо в лежачем положении. И табак готов».

Задолго до постройки «Эрмитажа» на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял, как и теперь стоит, трехэтажный дом Внукова<sup>7</sup>. Теперь он стал ниже, потому что глубоко осел в почву. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым», и перед ним всегда стояли тройки, лихачи и парные «голубчики» по зимам, а в дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото, вода заливала Неглинный про-

---

<sup>7</sup> Потом Кононова.

езд, но до Цветного бульвара и до дома Внукова никогда не доходила.

Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты.

Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился вперемежку между хорами по требованию публики, кому что нравится, — оперные арии мешались с камаринским и гимн сменялся излюбленной «Лучинушкой».

Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара, и даже из самой «Шиповской крепости» набегали фартовые после особо удачных сухих и мокрых дел, изменяя даже своему притону «Поляковскому трактиру» на Яузе, а хитровская «Каторга» казалась пансионом благородных девиц по сравнению с «Адом».

Много лет на глазах уже вошедшего в славу «Эрмитажа»

гудел пьяный и шумный «Крым» и зловеще молчал «Ад», из подземелья которого не доносился ни один звук на улицу. Еще в семи– и восьмидесятих годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за двадцать лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца... Нет.

Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внукова. Видит, идут по тротуару мимо этого дома человек пять, и вдруг – никого! Куда они девались?.. Смотрит – тротуар пуст... И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется... И вдруг исчезает снова... Торопливо шагает будочник – и тоже проваливается сквозь землю, а через пять минут опять вырастет из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой...

Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому – и секрет открылся: в стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:

– У нас жить так жить!



## *Трубная площадь*

Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара...

Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы, и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань.

А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки...

И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа от лопнувшей где-то трубы на минуту остановят дыхание...

Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середины огромнейшего «зала». Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу, мимо огромный плиты, где и жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом, за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться «пуншником», любимым напитком «зеленых ног», или «болдох», как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем.

Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается... Только в левом углу за буфетом тише – там идет игра в ремешок, в наперсток... И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров, а все-таки по пьяному делу играют... Уж очень просто.

Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю – и под наперстком ничего нет...

В ремешок игра простая: узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер,



прежде чем распустится ремень, должен угадать середину, то есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга, в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается.

И здесь в эти примитивные игры проигрывают все, что есть: и деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портяночники, которые скупают тут же всякую мелочь, все же ценное и крупное поступает к самому «Сатане» – так зовут нашего хозяина, хотя его никогда никто в лицо не видел. Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы – они же и скупщики краденого.

Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатаи – «болдохи», которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми «дело делают» по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих «хазах». Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала, разве только городовые из соседней будки, да и то с самыми благими намерениями – получить бутылку водки.

И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина «Ада». Другую половину звали «Треисподняя», и в нее имели доступ только известные буфетчику

и вышибалам, так сказать, заслуженные «болдохи», на манер того, как вельможи, «имеющие приезд ко двору». Вот эти-то «имеющие приезд ко двору» заслуженные «болдохи» или «Иваны» из «Шиповской крепости» и «волгой» из «Сухого оврага» с Хитровки имели два входа – один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно.

«Треисподняя» занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием: маленькие – «адских кузниц», а две большие – «чертовых мельниц».

Здесь грачевские шулера метали банк – единственная игра, признаваемая «Иванами» и «болдохами», в которую они проигрывали свою добычу, иногда исчисляемую тысячами.

В этой половине было всегда тихо – пьянства не допускали вышибалы, одного слова или молчаливого жеста их все боялись. «Чертовы мельницы» молотили круглые сутки, когда составлялась стоящая дела игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело: то «тырбанка сламу», то есть дележ награбленного участниками и продажа его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько каморок были обставлены как спальни (двухспальная кровать с соломенным матрасом) – опять-таки только для почетных гостей и их

«марух»...

Заходили сюда иногда косматые студенты, пели «Дубинушку» в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводивших им каморки, когда не находилось мест в зале.

Так было в шестидесятых годах, так было и в семидесятых годах в «Аду», только прежде было проще: в «Треисподнюю» и в «адские кузницы» пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в семидесятых годах в «Ад» заходили почетные гости – актеры Народного театра и Артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели – под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена.

В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже «Ада» не было, а существовали лишь подвальные помещения (в одном из них помещалась спальня служащих трактира, освещавшаяся и днем керосиновыми лампами).

С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на ца-

ря.

В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановившей бороться активно с правительством. Это были студенты университета и Сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация».

Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку в Каретном ряду. По имени дома эта группа называлась ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам «Организации».

Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных «адских кузницах». Вот по имени этого притона группа ишутинцев и назвала себя «Ад».

Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной, в развалившемся доме Чебышева, где Ишутин оборудовал небольшую переплетную мастерскую, тоже под названием «Ад», где тоже квартировали некоторые «адовцы», называвшие себя «смертниками», то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя.

Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву, девять «адовцев» были посланы на каторгу (Каракозов был повешен). В Москве все были так перепуганы, что

никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось.

Еще в прошлом столетии упоминалось о связи «Ада» с каракозовским процессом, но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Н. Н. Златовратский, Н. В. Успенский, А. М. Дмитриев, Ф. Д. Нефедов и Петр Кичеев вспоминали «Ад» и «Чебыши», да знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников «Адской группы», бывавший на заседаниях смертников в «Аду» и «Чебышах». Это Н. Ф. Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на двенадцать лет каторжных работ.

Уже в конце восьмидесятых годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей» как переводчик, кроме того, писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями.

Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее Революции в 1926 году.

Первая половина шестидесятых годов была началом буй-

ного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после «освободительной» реформы. Владельцы магазинов «роскоши и моды» и лучшие трактиры обогащались; но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, – живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги.

*Из показаний Д. В. Каракозова следственной комиссии по делу о покушении на Александра II 4 апреля 1866 года.*

16 апреля 1866 года.

*Когда и при каких обстоятельствах родилась у вас мысль покушиться на жизнь государя императора? Кто руководил вас совершить это преступление и какие для сего принимались средства?*

Эта мысль родилась во мне в то время, когда я узнал о существовании партии, желающей произвести переворот в пользу великого князя Константина Николаевича. Обстоятельства, предшествовавшие совершению этого умысла и бывшие одною из главных побудительных причин для совершения преступления, были моя болезнь, тяжело подействовавшая на мое нравственное состояние. Она повела сначала меня к мысли о самоубийстве, а потом, когда представилась цель не умереть даром, а принести этим пользу народу, то придала мне энергии к совершению моего замысла.

Что касается до личностей, руководивших мною в совершении этого преступления и употребивших для этого какие-либо средства, то я объявляю, что таких личностей не было: ни Кобылин, ни другие какие-либо личности не делали мне подобных предложений. Кобылин только сообщил мне о существовании этой партии и мысль, что эта партия опирается на такой авторитет и имеет в своих рядах многих влиятельных личностей из числа придворных. Что эта партия имеет прочную организацию в составляющих ее кружках, что партия эта желает блага рабочему народу, так что в этом смысле может назваться народною партией. Эта мысль была главным руководителем в совершении моего преступления. С достижением политического переворота являлась возможность к улучшению материального благосостояния простого народа, его умственного развития, а чрез то и самой главной моей цели — экономического переворота. О Константиновской партии я узнал во время моего знакомства с Кобылиным от него лично. Об этой партии я писал в письме, которое найдено при мне, моему брату Николаю Андреевичу Ишутину в Москву. Письмо не было отправлено потому, что я боялся, чтобы каким-либо образом не помешали мне в совершении моего замысла. Оставалось же это письмо при мне потому, что я находился в беспокойном состоянии духа и письмо было писано перед совершением преступления. Буква К в письме означает именно ту партию Константиновскую, о которой я сообщал брату.

По приезде в Москву я сообщил об этом брату словесно, но брат высказал ту мысль, что это – чистая нелепость, потому что ничего об этом нигде не слышно, и вообще высказал недоверие к существованию подобной партии.  
*Дворянин Дмитрий Владимиров Каракозов.*



На „дешевизе“, в Верхних торговых рядах, в Москве, на Осенней неделе.  
(Рисунок художника С. Мухоморова).

## *В Верхних торговых рядах*

Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом Оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то.



На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку – Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнездниковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены.

Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях.

Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье – только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские полковые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами.

И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI, и с надписью «Трианон».

Набросились на лакомство не зная куда девать деньги избалованные бары...

Три француза вели все дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариус и в кухне парижская знаменитость – повар Дюге.

Это был первый, барский период «Эрмитажа».

Так было до начала девяностых годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира. Те пировали в отдельных кабинетах.

Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты – Кнопы, Вогау Гопперы, Марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол.

А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги, и перемешалось в залах «Эрмитажа» с представителями иностранных фирм.

Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед ситительными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину.

Дело шло и так блестяще.

На площади перед «Эрмитажем» барские запряжки

сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными, призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади и у гостиниц «Дрезден», «Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага».

Но лучшие были у «Эрмитажа», платившие городу за право стоять на бирже до пятисот рублей в год. На других биржах – по четыреста.

Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана «сиятельными особами».

– Вась-сиясь!..

– Вась-сиясь!..

Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть:

– К «Яру»!

И сейчас же москвич обращается в «вась-сиясь».

Воланы явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера.

Тогда волан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без волана и «вась-сиясь» у лихачей...

Каждому приятно быть «вась-сиясем»!

Особенно много их появилось в Москве после японской

войны. Это были поставщики на армию и их благодетели – интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в «Эрмитаж» они явились уже «вась-сиясьями».

Был такой перед японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от «Эрмитажа» в «вась-сиясь», хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские четыре звездочки и одна полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какуюто комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы.

– Вась-сиясь! С Иваном! Вась-сиясь, с Федором! – встречали его лихачи у подъезда «Эрмитажа».

Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в Охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг...

Японская война!

Ожили!

Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки... Потом икру... Мармелад и портвейн № 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики Примеча-

ли, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели.



*Московский кучер. Конец XIX века*

## ВОПЛЬ О КОНКУРЕНЦИИ

Извозчики, имеющие стоянку возле ресторана «Эрмитаж», обратились в городскую управу с коллективным ходатайством о защите их от конкуренции со стороны предпринимателя, эксплуатирующего два автомобиля, избравшие местом стоянки двор ресторана.

*«Русский листок». 16 (03) сентября 1905 года*

На извозчиках подъезжать стали. Потом на лихачах, а потом в своих экипажах...

– Э... Э... А?... Пришлите по этой записке мне... и добавьте, что найдете нужным... И счет. Знаете?.. – гудел начальственно «низким басом и запускал в небеса ананасом»...

А потом ехал в «Эрмитаж», где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, «вась-сиясей», и мундирных и штатских.

Но многих из них «Эрмитаж» и лихачи «на ноги поставили»!

«Природное» барство проелось в «Эрмитаже», и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войной прекратились, а барские замашки остались. Чтоб прокатиться на лихаче от «Эрмитажа» до «Яра» да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захаровны – ежели кто по рубашечной

части, — надо тысячи три солдат полураздеть: нитки гнилые, бухарка, рубаха-недомерок...

А ежели кто по шапочной части — тысячи две папах на вершок поменьше да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить.

А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут да ревматизм навечно приобретут.

И ходили солдаты полураздетые, в протухлых, плешивых полушубках, в то время как интендантские «вась-сияси» «на шепоте дутом» с крашеными дульцинеями по «Ярам» ездили... За счет полушубков ротонды собольи покупали им и котиковые манто.

И кушали господа интендантские «вась-сияси» деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями.

Прошло время!..

Мундирные «вась-сияси» начали линять. Из титулованных «вась-сиясей» штабс-капитана разжаловали в просто барина... А там уж не то что лихачи, а и «желтоглазые» извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали — «Эрмитаж» его да и многих его собутельников «поставил на ноги»...

Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдатая «Эрмитажа» и не верили в прочность... «вась-сиясей», а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству.



«Эрмитаж» перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Ма риуса заменили новые директора: мебельщик Поликарпов, рыбак Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике.

Первым делом они перестроили «Эрмитаж» еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. «Эрмитаж» увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником...

«Эрмитаж» стал давать огромные барыши – пьянство и разгул пошли вовсю. Московские «именитые» купцы и богатей посерее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались... Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали... И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Таити съели...

Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой... Кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю! От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебивало! И все держалось в секре-

те; полиция не мешалась в это дело – еще на начальство там наткнешься!

Роскошен белый колонный зал «Эрмитажа». Здесь привились юбилеи. В 1899 году, в Пушкинские дни, там был Пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени.

А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон.

И ели «чумазы» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу-соль из Средиземного моря...

Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке... И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой...

Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков...

Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.

Празднование столетнего юбилея Пушкина в 1899 году было не первым и единственным мероприятием подобного рода в ресторане «Эрмитаж». Здесь часто устраивали чествования и юбилеи

знаменитых и выдающихся личностей. Например, еще в 1879 году в ресторане прошел торжественный ужин, посвященный И. Тургеневу Герой праздника произнес тогда такую речь:

«Г<оспо>да! Начну с просьбы: позвольте мне не говорить о моей благодарности. Это выражение слишком слабо и недостаточно. Такие дни, какие я прожил в Москве, такой прием останутся навсегда в моей памяти, и, как я уже имел честь сказать третьего дня гг. студентам, составляют лучшую награду писателя пред концом его поприща. Я предпочитаю осветить значение и смысл приема, которым вы меня удостоили, особенно вы, гг. молодежь. Нет никакого сомнения, что сочувствие ваше относится ко мне не столько как к писателю, успевшему заслужить ваше одобрение, сколько к человеку, принадлежащему эпохе 40-х годов, – оно относится к человеку, не изменившему до конца ни своим художественно-литературным убеждениям, ни так называемому либеральному направлению. Это слово „либерал“ в последнее время несколько опошлилось, и не без причины. Теперь, когда всё указывает на то, что мы стоим накануне хотя близкого и законно правильного, но значительного перестроя общественной жизни, это слово является чем-то неопределенным и шатким. Кто им, подумаешь, не прикрывается! Но в наше, в мое молодое время, когда еще помину не было о политической жизни, слово „либерал“ означало протест против

всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и искусству и наконец – пуще всего – означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов. Мне сдается, что нынешнее молодое поколение поступает согласно с высказанным мною воззрением: оно поняло, в чем тут вопрос, протянуло руку старым либералам и старым художникам в моем лице, оно связует нить преданий, оно продолжает начатое дело; и если, как слышно, это сближение произошло вследствие недавнего поворота, то душевно радуюсь, что дожил до него. В сравнении с нами молодое поколение сделало много шагов вперед; оно до некоторой степени подготовило себя к той будущности, на которую я указывал, но только до некоторой степени. Надо докончить начатое, и докончить прямо, честно, по открытому пути. Задача его, правда, труднее и сложнее нашей: тогда вся сознательная жизнь общества текла, если можно так выразиться, по одному руслу, теперь она разветвилась или готовится разветвиться, как оно и следует в более зрелом возрасте государства. Сочувствую всем стремлениям молодежи, но полагаю, что она хорошо делает, сближаясь с нами: есть чему поучиться и у нас, стариков. Во всяком случае от души желаю, чтобы она так же честно и серьезно, так же избегая напрасных увлечений вдаль и по сторонам, но и не отступая также ни шагу назад, относилась к своим задачам,

как то делали иные из моих сверстников, имена которых проложили славный след в истории русского просвещения. Стоит только вспомнить хоть тех из них, которые составляли некогда украшение и гордость Московского университета. Да возникнут же между вами новые Грановские и новые Белинские! – прибавлю я. Я уже не говорю о новых Пушкиных и Гоголях, – таких явлений надо ожидать с смирением и как дара... И так как я уже упомянул об университете, то позвольте мне окончить мою речь тостом за его процветание, неразлучное с правильным, всесторонним и мощным развитием нашего молодого поколения – нашей надежды и нашей будущности!»

В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели...

«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить бояться.

Опять толпы около «Эрмитажа»... Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливых, получивших пакет от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».

Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемежку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках

названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье... Но неугрызимые котлеты – на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков... Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.

В швейцарской – котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы...

В большом зале – те же люстры, белые скатерти, блестит посуда...

На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибежали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.

Вот за шампанским кончает обед шумная компания... Вскикивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и п одливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет...

Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что

с успехом шла в Театре революции. Все – как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн... Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала... А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть...

И на других столах то же.

Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.

# Лубянка

В девятидесятых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом стра-



ховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостоивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходявшего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера

какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.

Оригинальные мебелишки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «номерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо лужеными и нечищенными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно... В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.



Рядомъ со мной въ номерѣ  
Ночевала душка,—  
Дѣвица-красавица,  
Изъ Москвы игрушка.  
Я смотрѣлъ сквозь дверочку,  
Какъ она сидѣла,  
Повернувшись къ зеркальцу,  
И въ него глядѣла.

И мечтавъ, выдумывая,  
Какъ-бы съ ней сойтись,  
Въ рѣчахъ-прибауточкахъ  
Въ любви объясниться.  
Сердце мое радостно  
Такъ вотъ и трислось,  
Но мнѣ полюбезничать  
Съ нею не пришлось.



Я не сибѣлъ къ дѣвченокѣ  
Отнесись словечкомъ,  
Худо жить, ребятушки,  
Съ трусливымъ сердечкомъ.  
Вѣкъ свой горемыкою  
Такъ вотъ и пробьешься,  
Безъ любви, безъ радости  
Въ земяку уберешься.

## *В мебелированных комнатах*

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население мебелирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли — сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная люби-

мыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами... Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем... На стенах –

наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева... На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.

В спальне – огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.



Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.

Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Далматов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик. А потом вдруг:

– Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?

– Не понимаем.

– Ну, так увидите!

Позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой.

– Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?

– Да, пожалуй. Скучно очень...

– Время такое-с, все разъехамшись... Во всем коридоре одна только Языкова барыня... Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит... Ко сну придут, а теперь еще солнце не село.

Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.

– Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой... Вот это мои друзья – актеры... Представьте нам старого барина. Григо-

рий-то здесь?

– У себя в каморке, восьмому номеру папиросы набивает.

– Позовите его да представьте... мы по рублику вам соберем.

– Помилуйте, за что же-с... Я и так рад для вас.

– Со скуки умираем, развлеките нас...

– Сейчас за Гришей сбегаю.

Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол, к окну, сказал «сейчас» и исчез.

Казаков на наши вопросы отвечал только одно:

– Увидите. А пока давайте по рублю.

Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными шнурами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал. В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши.

– Ванька, трубку!

И вмиг вбежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью, в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой – туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке.

Барин раскурил и затянулся.

– А мерзавец Прошка где?

– На нем черти воду возят...

– А! – Барин выпустил клуб дыма и задумался.

– Ванька малый! Принеси-ка полштоф водки алой!

– А где ее взять, барин?

– Ах ты, татарин! Возьми в поставе!

– Черт там про тебя ее поставил...

– А шампанское какое у нас есть?

– А которым ворота запирают!

– Что ты сказал? Плохо слышу!

– Что сказал – кобель языком слизал!

– Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?

– Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится – фунт отломится, как павой пройдет – два нарастет... Одна нога хромая, на один глаз кося, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!

– Ну, это не беда, давай ее сюда... А приданое какое?

– Имение большое, не виден конец, а посередке дворец – два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица. А рожь какая – от колоса до колоса не слышать бабьего голоса!

– Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?



– Пишут, что чуть дышат а живут страсть богато, гробут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез...

– А где он, старый леший?

– Да уж на том свете смолу для господ кипятит!

Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.

– Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?

– Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди...

Барин вслух читает письмо:

«Батюшка барин сивый жеребец Михаиле Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиней породы вашей милости было довольно».

– Ванька! Скот! Да это письмо старинное...

– Половину искурили – было длинное...

– Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит...

– А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что, – и, просунув большой палец между указательным и средним, слуга преподнес барину кукиш.

Обратился к нам:

– Представление окончено; кроме этого, у нас с бариним ничего нет...

Гости зааплодировали, а восторженный Киреев вскочил

и стал жать руки артистам.

Насилу мы уговорили их взять деньги...

Человек, игравший «Ваньку», рассказал, что это «представление» весьма старинное и еще во времена крепостного права служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты.

То же подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал.

Рядом с домом Мосолова, на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозничий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была «простота», которую вывел в половине девятых годов обер-полицмейстер Власовский.



## *Лубянская площадь*

А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчий двор: между домом Мосолова и фонтаном – биржа извозчицких карет между фонтаном и домом Шилова – биржа ломовых, а вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки – сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные, и кормятся.

На мостовой вдоль линии тротуара – объедки сена и потоки нечистот.

Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев

мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь, а вокруг бассейна – вереница водовозов с бочками.

Подъезжают по восемь бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи...

## НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Вчера на Лубянской площади совершена была закладка новой подстанции городского электрического сооружения.

Новая подстанция будет находится у Китайской стены, на Лубянке, при выходе из ворот с Никольской – под землей.

Для Москвы это – первая попытка построить большое здание под землей.<...>

*«Русское слово». 11 сентября (29 августа) 1905 года*

Рядом с «Угличем», на углу Мясницкой – «Мясницкие» меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным на земле, арендуемой у консистории.

Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства

читателей.

Попал черт в невод и в испуге вскрикивал:

– Не в консистории ли я?!

Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение.

А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов – совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь – главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все. Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки возами, в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой – от Фуркасовского переулка до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, № 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых ар

хиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего су пружеской верности застали в кровати; требовались еще такие по дробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть, но свидетели «видели» и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и «судили».

Выше консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.

Отсюда ходила шутка:

– Слепейший синод и грабительствующий сенат живут под арками.

Между зданием консистории и «Мясницкими» номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов.

У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы: «Мне пришлось, – пишет автор записи, – быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя

за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца.

– Что это за странное здание? – спросил я у чиновника.

– Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, – мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, – этот шкафчик не больше не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя преступников; видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в высоту. А под нами, да и под архивом, рядом с нами – подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

– Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников – Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Пом-

нил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи: кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво...





*Э. Гертнер. Ивановская площадь*

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сума спешедший дом... Потом, уже при Александре I, сло-

мали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, — это еще мой отец помнил... И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим... Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре... Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню...

Прошло со времени этой записи больше двадцати лет. Уже в начале этого столетия возвращаясь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки — и вдруг вижу: дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят.

— Теперь подземную тюрьму начали ломать, — пояснил мне десятник.

— А я ее видел, — говорю.

— Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована... Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали и наткнулись мы на дубовую, железом ко-

ванную дверь. Насилу сломали, а за дверью – скелет человеческий... Как сорвали дверь – как загремит, как цепи звякнули... Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело... Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег... Своды... кольца... крючья...

Дальше было светлее, свечку погасили.

– А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.



### *Трамваи на Лубянской площади*

– Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

– Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе – иллюстратора Н. А. Богатова.

– Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? – останавливаю его.

– Конечно, я без карандаша и альбома – ни шагу.

Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка вышины, ширины – тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, – двадцать вершков, а в другом – тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались.

Дом сломали, и на его месте вырос новый.

В 1923–1924 годах, на месте, где были «Мясницкие» меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубооченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы «Тайного приказа», к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов.

По другую сторону Мясницкой, в Лубянском проезде, было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентыча, задний фасад которого выходил на огромный двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной – огурцами и зеленью, летом – ягодами, осенью – плодами, главным образом яблока-

ми, а зимой – мороженой рыбой и круглый год – живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей – лотошников и разносчиков. В начале девяностых годов это огромное дело прекратилось, владения Ромейко купил сибирский богатей Н. Д. Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты.

Позади «Шиповской крепости» был огромный пустырь, где по зимам торговали с возов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время – овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин,нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы бы ли непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки – далеко.

Как-то, еще в крепостные времена, на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный кри-

ками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана.

Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.

# Булочники и парикмахеры

На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание бывшего булочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шумахер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

Вчера угас еще один из типов,  
Москве весьма известных и знакомых,  
Тьмутараканский князь Иван Филиппов,  
И в трауре оставил насекомых.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика – от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще



Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный.

– Хлебушко черненький труженику первое питание, – говорил Иван Филиппов.

– Почему он только у вас хорош? – спрашивали.

– Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская, из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука самая лучшая. И очень просто! – заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой.

«Над входной дверью огромный золотой калач... Особенно мы любили отделение, где продаются булки, калачи, пряники. Просунешь свой пятиалтынный продавцу и говоришь громко: „Фунт мятных пряников“. Продавец непременно пошутит с тобой и быстро-быстро всыплет пряники в бумажный мешочек...»

*Е. А. Андреева-Бальмонт*

Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да

не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

– Почему же?

– И очень просто! Вода невская не годится!

Кроме того, – железных дорог тогда еще не было, – по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали – тоже особым способом, в сырых полотенцах, – и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе... И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей, – это сайки с изюмом...

– Как вы додумались?

– И очень просто! – отвечал старик.

Вышло это, действительно, даже очень просто.

В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

– Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! – заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

– Э-тто что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным тараканом. – Э-тто что?! А?

– И очень даже просто, ваше превосходительство, – поворачивает перед собой сайку старик.

– Что-о?.. Что-о?.. Просто?!

– Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

– Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

«На Тверской же, дальше по направлению к Охотному, – Филиппов: большой хлебный магазин и кондитерская с мраморными столиками, где мы с мамой присаживались съесть пирожки с капустой, горячие. Черный филипповский славился на всю Москву и за ее пределами».

*А. Цветаева*

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

– И очень просто! Все само выходит, поймать сумеи, – говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом.

– Вот хоть взять конфеты, которые «ландрин» зовут... Кто Ландрин? Что монпансье? Прежде это монпансье наши у французов выучились делать, только продавали их в бумажках завернутые во всех кондитерских... А тут вон Ланд-

рин... Тоже слово будто заморское, что и надо для торговли, а вышло дело очень просто.

На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, — он по-особому его делал, — половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него никто так делать не умел, и в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести.

Видит, лоток накрытый приготовлен стоит. Схватил и бежит, чтобы не опоздать. Приносит. Елисеев развязал лоток и закричал на него:

— Что ты принес? Что?..

Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки, схватил лоток, побежал. Устал, присел на тумбу около гимназии женской... Бегут гимназистки, одна, другая...

— Почему конфеты?

Он не понимает...

— По две копейки возьмешь? Дай пяток.

Сует одна гривенник... За ней другая... Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят:

— Ты завтра приходи во двор, к 12 часам, к перемене... Как тебя зовут?

— Федором, по фамилии Ландрин...

Подсчитал барыши — выгоднее, чем Елисееву продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять при-

нес в гимназию.

– Ландрин пришел!

Начал торговать сперва вразнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться «ландрин» – слово показалось французским... ландрин да ландрин! А он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит.

– И очень даже просто! Только случая не упустил. А вы говорите: «Та-ра-кан»!

А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе.

Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным.

Испокон веков был обычай на большие праздники – рождество, крещение, пасху, масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» – посылать в тюрьмы подаяние арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким».

Особенно хорошо в этом случае размахивалась Москва.

Булочные получали заказы от жертвователя на тысячу, две, а то и больше калачей и саяк, которые развозились в ка-

нуны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты из квартировавших в Москве полков.

Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подавание большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами.

Главным жертвователем было купечество, считавшее необходимостью для спасения душ своих жертвовать «несчастненьким» пропитание, чтобы они в своих молитвах поминали жертвователя, свято веруя, что молитвы заключенных скорее достигают своей цели.

## ГОРОДСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

19-го августа проживающая в доме Федорова, на Пименовской ул., крестьянка Любовь Воробьева, и дети ее, Николай, 3-х лет, и Таисия, 2-х лет, поев пирожного, купленного в булочной Филиппова, на углу Долгоруковской и Селезневской улиц, заболели признаками отравления, но благодаря быстро поданной медицинской помощи опасность удалось устранить.

*«Новости дня». 03 сентября (21 августа) 1905 года*

Еще ярче это выражалось у старообрядцев, которые

по своему закону обязаны оказывать помощь всем пострадавшим от антихриста, а такими пострадавшими они считали «в темницу вверженных».

Главным центром, куда направлялись подаяния, была центральная тюрьма – «Бутырский тюремный замок». Туда со всей России поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь, отсюда они, до постройки Московско-Нижегородской железной дороги, отправлялись пешком по Владимирке.

Страшен был в те времена, до 1870 года, вид Владимирки!

...Вот клубится  
Пыль. Все ближе... Стук шагов,  
Мерный звон цепей железных,  
Скрип телег и лязг штыков.  
Ближе. Громче. Вот на солнце  
Блещут ружья. То конвой;  
Дальше длинные шеренги  
Серых сукон. Недруг злой,  
Враг и свой, чужой и близкий,  
Все понуро в ряд бредут,  
Всех свела одна недоля,  
Всех сковал железный прут...

А Владимирка начинается за Рогожской, и поколениями видели Рогожские обитатели по несколько раз в год эти ужасные шеренги, мимо их домов проходившие. Видели детьми впервые, а потом седыми стариками и старухами все ту же

картину, слышали:

...И стон

И цепей железных звон...

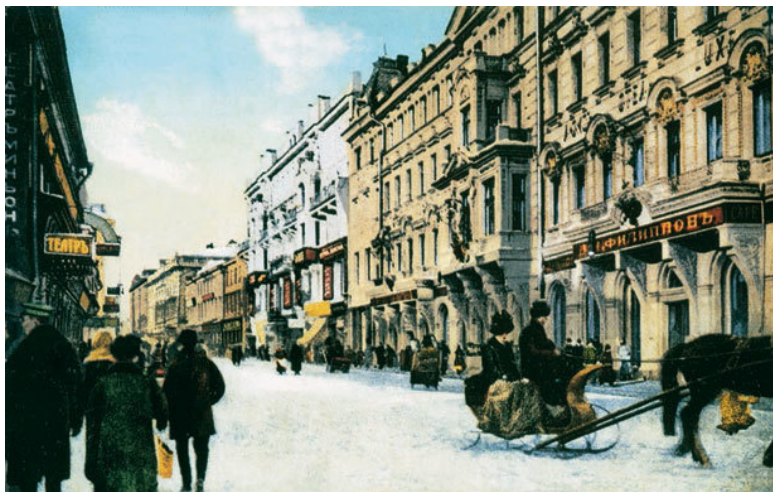
Ну, конечно, жертвовали, кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда воза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой, по пути следования партии, и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрещины от солдат.

Страшно было движение этих партий.

По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями...

И движется, ползет, громыхая и звеня железом, партия иногда в тысячу человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской... В голове партии погремливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы, каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяние, бросаемое народом.





*Тверская улица зимой*

И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с желтым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом:

«С. К.».

«С. К.» – значит ссыльнокаторжный. Народ переводит по-своему: «Сильно каторжный».

Двигается «кобылка» сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы... За ссыльнокаторжными, в одних кандалах, шли скованные по нескольку железным прутom ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за «бесписьменность», отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и меш-

ками колымаг, на которых рас положились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие.

Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась... Миновали Таганку. Перевалили заставу... А там, за заставой, на Владимирке, тысячи народа съехались с возами, ждут, — это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы и с базаров.

До прибытия партии приходит большой отряд солдат очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает.

Это первый этап. Здесь производилась последняя переключка и проверка партии, здесь принималось и делилось подаяние между арестантами, и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги, а деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котиновалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись ссужать партию.

Затем происходила умопомрачительная сцена прощания, слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки... Наконец конвою удастся уговорить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь.

Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковычивать буйных.

Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а «шпана», этапные.

Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным Стиксом, и по ней Хароны со штыками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо проторенного под звуки цепей пути –

Меж чернеющих под паром  
Плугом поднятых полей  
Лентой тянется дорога  
Изумруда зеленой...  
Все на ней теперь иное,  
Только строй двойной берез,  
Что слышали столько воплей,  
Что видали столько слез,  
Тот же самый...  
...Но как чудно  
В пышном убранстве весны  
Все вокруг них! Не дождями  
Эти травы вспоены,  
На слезах людских, на поте,  
Что лились рекой в те дни, –  
Без призора, на свободе –  
Расцвели теперь они.  
Все цветы, где прежде слезы  
Прибивали пыль порой,  
Где гремели колымаги  
По дороге столбовой.

Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала за-прещено было принимать подаяние – разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы:

– А по чем несчастненькие узнают кто им подал? За кого молиться будут?

Рогожские наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближай-шие тюрьмы: при Рогожском полицейском доме и при Ле-фортовском.

И заваливали в установленные дни подаянием эти две ча-сти, хотя остальная Москва продолжала посылать по-преж-нему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользо-вались.

Перед большими праздниками, к великому удивлению на-чальства, Лефортовская и Рогожская части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, при-чем за «бесписьменность» задерживалось неимоверное ко-личество бродяг, которые указывали свое местожительство главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пере-сылали с конвоем для удостоверения личности.

А вместе с ними возами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось.

После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверении личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет «благодетелей», ожидавших горячих молитв за свои души от этих «несчастненьких, ввергнутых в узилища слугами антихриста».

Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком.

Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки; во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он «очень просто», не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений.

Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда «филипповскую кофейную» с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах...

Тем не менее это парижского вида учреждение известно

было под названием «вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками...



— Понимаешь: съ одного фланга нападаютъ, съ другого—тоже, а тутъ съ тылу къ нимъ подкрѣпленіе подоспѣло... Ну, съ трехъ фронтовъ жарить и принижаютъ...  
— Это вы, Иванъ Ивановичъ, про Лыска рассказываете?  
— И совсѣмъ даже не про Лыска!.. Я рассказываю, какъ вчера мы въ «железку» играли и какъ мнѣ за «накладку» попалло...

### *М. Щеглов. В кофейной Филлипова*

Но совершенно другая публика в кофейной: публика «вшивой биржи».

Завсегдатаи «вшивой биржи». Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались слова-

ми, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу.

Эта публика – аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, привлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи.

У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой: «играющие».

В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь – все заядлые игроки в тотализатор.

Они являются сюда для свидания с «играющими» и «жучками» – завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. «Жучки» их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома.

За час до начала скачек кофейная пустеет – все на ипподроме, кроме случайной, пришлой публики. «Играющие» уже больше не появляются: с ипподрома – в клубы, в игорные дома их путь.

«Играющие» тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать,

право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом: «играющий».

Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта:

– Ваше занятие?

– Играющий.

– Не понимаю! Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?

– Играющий я! Добываю средства игрой в тотализатор, в императорских скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом... Играю в игры, разрешенные правительством...

И, отпущенный, прямо шел к Филиппову пить свой утренний кофе.

Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески: «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается».

Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна, сидел, углубясь в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэро-



план. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места: все столы заняты... Вдруг взгляд его падает на юношу-военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.

– Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? – указывает офицер на вывеску.

Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздается голос:

– Корнет, пожалуйста сюда!

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор Военной академии.

Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом.

– Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите!

Сконфуженный корнет подобрав саблю, заторопился к выходу. А юноша-военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом.

Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву.

Это было первое революционное выступление рабочих и первая ружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом!

С половины сентября пятого года Москва уже была очень беспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее.

В субботу, 24 сентября, к Д. И. Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что с воскресенья они порешили забастовать.

Часов около девяти утра, как всегда в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около одиннадцати часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городских с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали:

– Вон полицию!

Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали.

Все успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешили в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщению городских, даже стреляли (что и заставило их перед этим бежать), находился внутри двора.

Летели стекла... Сыпалась штукатурка... Мирные обыватели – квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел

роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы – разбивать баррикады, которых не было, затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что, если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты, из столовой забрали обедавших, из спален – отдыхавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна седьмого этажа фабричного корпуса...

Около двухсот рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнездниковский переулок, где находились охранное отделение и ворота в огромный двор дома градоначальника.

Около четырех часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка-рабочих, избитые, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы.

Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулочка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца у запертой двери бывшей парикмахерской Леона Эмбо стояла кучка любопытных,

которым податься было некуда: в переулке давка, а на Тверской – полиция и войска. На верхней ступеньке, у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими седеющими усами.

Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины»:

Народ галдел, народ зевал,  
Едва ли сотый понимал,  
Что делается тут...  
Зато посмеивался в ус,  
Лукаво щуря взор,  
Знакомый с бурями француз,  
Столичный куафер.

Жюль – парижанин, помнивший бои Парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был «придворным» парикмахером князя В. А. Долгорукова.

Леон Эмбо, французик небольшого роста с пушистыми, холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика.

Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл вли-

ятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера.

Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора, под гостиницей «Дрезден», и в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве.



*Витрина парикмахерской Андреева*

Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов.

Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается «французик из Бордо» около какого-нибудь Леньки или Сереньки с Таганки, и так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет:

– Мал-шик!.. Шипси!..

Пока вихрастый мальчик подает горячие щипцы, Ленька и Серенька, облитые одеколоном и вежеталем, ковыряют в носу, и оба в один голос просят:

– Ты меня уж так причеши таперича, чтобы без тятеньки выходило а-ляка-пуль, а при тятеньке по-русски.

Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем замоскворецких невест и щеголять перед яровскими певицами...

Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа... Модные журналы экстренно из Парижа... В дамских залах – великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики.

В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-

миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить...

Они друзья с домовою прислугой — она выкладывает им все сплетни про своих хозяев... Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести... Весьма наблюдательны и даже остроумны...

Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар».

А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал:

— Так вернее будет.

В этом дневнике, кстати сказать, попавшем в редакционную корзину, был описан первый «электрический» бал в Москве. Это было в половине восьмидесятых годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее.

Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества.



## СРЕДИ ПАРИКМАХЕРОВ

Вчера московским градоначальником генерал-майором Е. Н. Волковым была принята депутация парикмахеров-подмастерьев. Они подали градоначальнику выработанную ими петицию об улучшении условий их труда. <...> Градоначальник выразил депутации готовность рассмотреть просьбу и дать ответ на днях.

*«Русское слово». 7 апреля (25 марта) 1905 года*

Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, заgrimировав перед балом в «блудуаре» хозяйку дома применительно к новому освещению.

Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица.

Танцевали вплоть до ужина, который готовил сам знаменитый Мариус из «Эрмитажа».

При лиловом свете столовой мореного дуба все лица стали мертвыми, и гости старались искусственно вызвать румянец обильным возлиянием дорогих вин.

Как бы то ни было, а ужин был весел, шумен, пьян – и... вдруг потухло электричество!

Минут через десять снова загорелось... Скандал! Кто под стол лезет... Кто из-под стола вылезает... Во всех позах осветило... А дамы!

– До сих пор одна из них, – рассказывал мне автор дневника и очевидец, – она уж и тогда-то не молода была, теперь совсем старуха, я ей накладку каждое воскресенье делаю, – каждый раз в своем блудуаре со смехом про этот вечер говорит... «Да уж забыть пора», – как-то заметил я ей. «И што ты... Про хорошее лишний раз вспомнить приятно!»

Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в шестидесятых годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шикавала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские, и какой-нибудь цирюльник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески: «Цырюльня. Здесь ставят пиявки, отворяют кровь, стригут и бреют. Баранов», а уж тоже козлиную бородку отпустил и тоже кричит, завивая приказчика из Ножевой линии:

– Малыш, шипси! Шевелись, дьявол!

И все довольны.

Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Гивартовский на Моховой. За ним Глазов на Пречистенке, скоро разбогатевший от клиентов своего дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, по-

чему и переулоч назвали Глазовским.

Лучше же всех считался Агапов в Газетном переулке, рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку: кареты в два ряда, два конных жандарма порядок блюдут и кучеров вызывают.

Агапов всем французам поперек горла встал: девять дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по пятнадцати-двадцати домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы.

В шестидесятых годах носили шиньоны, накладные косы и локоны, «презенты» из выющихся волос.

Расцвет парикмахерского дела начался с восьмидесятых годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем «трансформации» из выющихся волос кругом головы, – все это из лучших, настоящих волос.

Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие – французские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням «резчики», которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь.

Прически были разных стилей, самая модная: «Екатерина II» и «Людовики» XV и XVI.

После убийства Александра II, с марта 1881 года, все московское дворянство носило год траур, и парикмахеры на них

не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траур не было. Барских парикмахеров за это время съел траур. А с 1885 года французы окончательно стали добивать русских мастеров, особенно Теодор, вошедший в моду и широко развивший дело...

## ШЕЛКОВЫЕ ВОЛОСЫ

В Москве получена от одной из берлинских фабрик партия шелковых волос. Мода последних двух лет на ношение дамами всевозможных куафюр, кос, наколок и буклей из фальшивых волос породила и это новое изобретение парикмахерского дела. Шелковые волосы, приготовленные целиком из шелка, отличаются безусловной гигиеничностью, отсутствием опасности какого-либо заражения и возможностью их мыть горячей водой. Пока новый фабрикат поражает своей дороговизной.

*«Ранее утро». 30 (17 декабря) 1911 года*



### *«Jupes-culottes» прямо из Парижа*

Но все-таки, как ни блестящи были французы, русские парикмахеры Агапов и Андреев (последний с 1880 года) занимали, как художники своего искусства, первые места. Андреев даже получил в Париже звание профессора куафюры, ряд наград и почетных дипломов.

Славился еще в Газетном переулке парикмахер Базиль. Так и думали все, что он был француз, на самом же деле это был почтенный москвич Василий Иванович Яковлев.

Модные парикмахеры тогда очень хорошо зарабатывали: таксы никакой не было.

– Стригут и бреют и карманы греют! – острили тогда про французских парикмахеров.

Конец этому положил Артемьев, открывший обширный мужской зал на Страстном бульваре и опубликовавший: «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежеталем. На чай мастера не берут». И средняя публика переполняла его парикмахерскую, при которой он также открыл «депо пиявок».

До того времени было в Москве единственное «депо пиявок», более полвека помещавшееся в маленьком сереньком домике, приютившемся к стене Страстного монастыря. На окнах стояли на утеху гуляющих детей огромные аквариумы с пиявками разных размеров. Пиявки получались откуда-то с юга и в «депо» приобретались для больниц, фельдшеров и захолустных окраинных цирюлен, где еще парикмахеры ставили пиявки. «Депо» принадлежало Молодцовым, из семьи которых вышел известный тенор шестидесятых и семидесятых годов П. А. Молодцов, лучший Торопка того времени. В этой роли он удачно дебютировал в Большом театре, но ушел оттуда, поссорившись с чиновниками, и перешел в провинцию, где пользовался огромным успехом.

– Отчего же ты, Петрушка, ушел из императорских театров да Москву на Тамбов сменял? – спрашивали его друзья.

– От пиявок! – отвечал он.

Были великие искусники создавать дамские прически, но не менее великие искусники были и мужские парикмахеры. Особенным умением подстригать усы славился Липунцов на Большой Никитской, после него Лягин и тогда еще

совсем молодой, его мастер, Николай Андреевич.

Лягина всегда посещали старые актеры, а Далматов называл его «мой друг».

В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского антрепренера В. П. Далматова, который единственно ему позволял прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз В. П. Далматов в свой бенефис поставил «Записки сумасшедшего» и приказал Мите приготовить лысый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал напяливать на выхоленную прическу Далматова... На крик актера в уборную сбежались артисты.

– Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте и мне быть артистом своего дела! – задрав голову на высокого В. П. Далматова, оправдывался мальчуган. – Только примерьте!

## **ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ ПЕТЕРБУРГА**

Драматическая артистка П-а, выкрасившая у одного из столичных парикмахеров волосы, почти тотчас же почувствовала сильную головную боль. Через несколько часов волосы начали падать, а к утру другого дня артистка оказалась лысой. Парикмахер привлекается к уголовной ответственности, так как потерпевшая

отказалась взять полторы тысячи вознаграждения.

*«Московский листок». 24 (1) июня 1902 года*

В. П. Далматов наконец согласился – и через несколько минут пузырь был напаян, кое-где подмазан, и глаза В. П. Далматова сияли от удовольствия: совершенно голый череп при его черных глазах и выразительном гриме производил сильное впечатление.

И сейчас еще работает в Москве восьмидесятилетний старик, чисто выбритый и бодрый.

– Я все видел – и горе и славу, но я всегда работал, работаю и теперь, насколько хватает сил, – говорит он своим клиентам.

– Я крепостной, Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву – дома есть было нечего; попал к земляку дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову на Сретенке в доме Малюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно. Стричься к нам ходил народ с Сухаревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на Сухаревку, или на Трубу. Зимой с уша-том на санках, а летом с ведрами на коромысле... Обувь – старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар... Сапоги хозяину вычистишь. Из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора.

Хозяева вставляли в семь часов пить чай. Оба злые. Хозяин чахоточный. Били чем попало и за все, – все не так. Пороли



розгами, привязавши к скамье. Раз после розог два месяца в больнице лежал – загноилась спина... Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. Три месяца в больнице в горячке лежал...

С десяти утра садился за работу – делать парики, вшивая по одному волосу: в день был урок сделать в три пробора 30 полос. Один раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской водил в квартал, где его по этой записке выпороли. Тогда такие законы были – пороть в полиции по записке хозяина. Девять лет я отбыл у него, получил звание подмастерья и поступил по контракту к Агапову на шесть лет мастером, а там открыл свою парикмахерскую, а потом в Париже получил звание профессора.

В виду недостатка искусных парикмахеров, специалистов по дамским прическам (вследствие чего труд этих мастеров оплачивается очень высоко – до 100 руб. и выше этой цифры в месяц), общество распространения практических знаний между образованными женщинами устраивает в Москве женские курсы практических занятий по парикмахерскому делу. Кругом Москвы в уездных городах везде.

*«Новости дня». 20 (7) декабря 1903 года*

Это и был Иван Андреевич Андреев.

В 1888 и в 1900 годах он участвовал в Париже на конкурсе

французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом на звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства.

В 1910 году он издал книгу с сотней иллюстрации, которые увековечили прически за последние полвека.

## Два кружка

Московский артистический кружок был основан в шестидесятых годах и окончил свое существование в начале восьмидесятых годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего голицынского дворца, купленного в сороковых годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь – с другой, а окна белого голицынского зала выходили на Охотный ряд.

Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенные после пожара в начале этого столетия.

Круг роскошных, соединенных между собой зал и гостиных замыкали несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками.

Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой – провинциальными актерами, съезжавшими для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон.

По блестящему паркету разгуливали в вычурных костю-

мах и первые «персонажи», и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными, с золотыми цепями, в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек.

Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные будто бы, а на самом деле себе на уме комики – «Аркашки» в тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях «из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду». И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило.

Великие не очень важничали, маленькие не раболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто: Гамлет и могильщик, Пиккилы и Ахиллы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пинске, Минске, Хвалынске и Иркутске.

Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в Кружок, который был для них необходимостью: это было единственное место для встреч их с антрепренерами.

Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и мебелишках, где им очищали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее: свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши».

Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь», с ее разноцветными фресками

и «Принцессой Грезой» Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» С. И. Мамонтову.

А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домик Чельшева с множеством номеров на всякие цены, переполненных великим постом съезжавшимися в Москву актерами. В «Челышах» останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средняя актерская братия – в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней.

Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа наверх... подешевле.

Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом – Фальцвейна, на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа.



*Гостиница Чельшова «Чельиш». Примерно 1895–1898 годы*

Не менее излюбленным местом были «Черныши», в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка.

Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при Китайских банях, на Неглинном, довольно грязные, а самыми дешевыми были мебелишки «Семеновка» на Сретенском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом страхового общества «Россия».

В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на великий пост.

Начиная от «Челышей» и кончая «Семеновкой», с пер-

вой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы... Начиная с четвертой – начинало стихать. Номера постепенно освобождались: кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки. Кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные.

Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А. есть керосинка. Актер Б., из соседнего номера, прожился, обедая в ресторане. Случайный разговор в коридоре, разрешение изжарить кусок мяса на керосинке... Раз, другой...

– А я тоже собираюсь купить керосинку! Уж очень удобно! – говорит актер Б.

– Да зачем же, когда у меня есть! – отвечает актриса А.

Проходит несколько дней.

– Ну, что зря за номер платить! Перенеси свою керосинку ко мне... У меня комната побольше!

И счастливый брак на «экономической» почве состоялся.

Актеры могли еще видаться с антрепренерами в театральных ресторанах: «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельде» за Большим театром; только для актрис, кроме Кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов: Островско-

го, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров: Самарина, Шумского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене Кружка – единственном месте, где разрешалось играть великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время великого поста, в кануны праздников и по субботам. Кружок ставил – с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, вообразившего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, – спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло: «сцены из трагедии „Макбет“, «сцены из комедии „Ревизор“» или «сцены из оперетты „Елена Прекрасная“», хотя пьесы шли целиком.

Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке.

Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А. И. Барцал, а в другом – литератор, историк театра В. А. Михайловский – оба бывшие посетители закрывшего-



ся Артистического кружка.

Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов с семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал... На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала М. Н. Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая. И весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание, выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся Литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой, на Воздвиженке.

Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камин, ковры, концертный рояль... Уютно, интимно... Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполните-

лем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант – подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл...

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней.

Звучала музыка известных тогда музыкантов... Скрябин, Игумнов, Корещенко...

От музыки Корещенки  
Подошли на дворе щенки, –

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.

Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в игнатьевских залах.

Отыскиали новое помещение, на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Еще при Петре I принадлежал он Касимовскому царевичу, потом Долгорукову, умершему в 1734 году в Березове в ссылке, затем Черткову, пожертвовавшему свою знаменитую библиотеку горо-

ду, и в конце концов купчиха Обидина купила его у князя Гагарина, наследника Чертковых, и сдала его под Кружок.

Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Для поступления в действительные члены явился новый термин: «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло все. В баллотировочной таблице стояло: «... такой-то, общественный деятель», – и выборы обеспечены. В члены-соревнователи выбирали совсем просто, без всякого стажа.

Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной «железкой». Члены Охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся за «железкой» игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи – 30 копеек, в 2 часа 30 минут – 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа – 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут – 4 рубля 50 копеек, в 4 часа – 9 руб лей 30 копеек, в 5 часов – 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера...

Игра была запрещенная, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и «железка» закрывалась.

Тут поднимались хлопоты о разрешении, даже печата-

лись статьи в защиту клубной игры, подавались слезницы генерал-губернатору, где доказывалось, что игра не вред, а чуть ли не благодеяние, и опять играли до нового протокола.

Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду.

В это время Елисеев в своем «дворце Бахуса» отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его Кружку. Тут были и удобные, сокровенные комнаты для «железки», и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров.

Кружок сделался самым модным буржуазным клубом, и помещение у Елисеева опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк. В бельэтаже – огромный двухсветный зал для заседаний, юбилеев, спектаклей, торжественных обедов, ужинов и вторичных «собеседований». Когда зал этот освобождался к двум часам ночи, стулья перед сценой убирались, вкатывался десяток круглых столов для «железки», и шел открытый азарт вовсю, переносившийся из разных столовых, гостиных и специальных карточных комнат. Когда зал был занят, игра происходила в разных помещениях. Каких только комнат не было здесь во всех трех этажах! Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека (надо заметить, прекрасная) и портретная, она же директорская. Внизу бильярдная, а затем, ко-

гда и это помещение стало тесно, был отделан в левом крыле дома специально картежный зал – «азартный». Летняя столовая была в небольшом тенистом садике, с огромным каштаном и цветочными клумбами, среди которых сверкали электричеством вычурные павильончики-беседки для ужи-  
нающих веселыми компаниями, а во всю длину сада тяну-  
лась широкая терраса, пристроенная к зданию клуба в виде  
огромного балкона. Здесь у каждой компании был свой из-  
любленный стол.

Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уют-  
ный уголок на чистом воздухе, среди зелени и благоухающих  
цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались бес-  
покойным соседом – двором и зданиями Тверской полицей-  
ской части, отделенной от садика низенькой стеной.



*Московские пожарные. Конец XIX века*

Выше векового каштана стояла каланча, с которой часовой иногда давал тревожные звонки о пожаре, после чего следовали шум и грохот выезжающей пожарной команды, чаще слышалась нецензурная ругань пьяных, приводимых в «кутузку», а иногда вопли и дикие крики упорных буянов, отбивающих покушение полицейских на их свободу...

Иногда благоухание цветов прорывала струйка из навозных куч около конюшен, от развешанного мокрого платья пожарных, а также из всегда открытых окон морга, никогда почти не пустовавшего от «неизвестно кому принадлежащих трупов», поднятых на улицах жертв преступлений, ожидающих судебно-медицинского вскрытия. Морг возвышался ря-

дом со стенкой сада... Но к этому все так привыкли, что и внимания не обращали.

Только раз как-то за столом «общественных деятелей» один из них, выбирая по карточке вина, остановился на напечатанном на ней портрете Пушкина и с возмущением заметил:

– При чем здесь Пушкин? Это профанация!

– Пушкин всегда и при всем. Это великий пророк... Помните его слова, относящиеся и ко мне, и к вам, и ко многим здесь сидящим... Разве не о нас он сказал:

И на обломках самовластья  
Напишут наши имена!

Говорившего дополнил сосед-весельчак:

– Уж там запишут или не запишут ваши имена, а вот что Пушкин верно сказал, так это:

И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть.

И указал одной рукой на морг, а другой – на соседний стол, занятый картежниками, шумно спорившими.

Этот разговор происходил в августе 1917 года, когда такие клубы, действительно, были уже «у гробового входа».

Через месяц Кружок закрылся навсегда.

Когда новое помещение для азартной игры освободило

большой двухсветный зал, в него были перенесены из верхних столовых ужины в свободные от собраний вечера. Здесь ужинали группами, и каждая имела свой стол. Особым почетом пользовался длинный стол, накрытый на двадцать приборов. Стол этот назывался «пивным», так как пиво было любимым напитком членов стола и на нем ставился бочонок с пивом. Кроме этого, стол имел еще два названия: «профессорский» и «директорский».

Завсегдатаи стола являлись после десяти часов и садились закусывать.

Одни ужинали, другие играли в скромные винт и преферанс, третьи проигрывались в «железку» и штрафами покрывали огромные расходы Кружка.

Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в Кружке ярче, чем где-нибудь.

С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действия и речей.

Все было разрешено, или, лучше сказать, ничего не запрещалось.

С наступлением реакции эстрада смолкла, а разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло: разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, — только бы политикой не пахло.

Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах.



Отдельно стоял только неизменный Английский клуб, да и там азартные игры процветали, как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, равно как и дамы.

В Купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах. В Охотничьем – разодетые дамы «кушали деликатесы», интриговали на маскарадах, в карточные их не пускали. В Немецком – на маскарадах, в «убогой роскоши наряда», в трепаных домино, «замарьяживали» с бульвара пьяных гостей, а шулера обыгрывали их в карточных залах.

Огромный двухсветный зал. Десяток круглых столов, по десяти и двенадцати игроков сидят за каждым, окруженные кольцом стоящих, которые ставят против банка со стороны. Публика самая разнообразная. За «рублевыми» столами – шумливая публика, споры.

– Вы у меня рубль отсюда стащили!

– Нет, вы у меня сперли!

– Дежурный!

– Кто украл? У вас украли, или вы украли?

За «золотыми» столами, где ставка не меньше пяти рублей, публика более «серьезная», а за «бумажным», с «пулькой» в двадцать пять рублей, уже совсем «солидная».

На дамах бриллианты, из золотых сумочек они выбрасывают пачки кредиток... Тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участие в их игре или с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увезти ее из клуба...

Много таких дам в бриллиантах появилось в Кружке по-

сле японской войны. Их звали «интендантскими дамами». Они швырялись тысячами рублей, особенно «туровала» одна блондинка, которую все называли «графиней». Она была залита бриллиантами. Как-то скоро она сошла на нет — сперва слиняли бриллианты, а там и сама исчезла. Ее потом встречали на тротуаре около Сандуновских бань...

## **ЗАПИСКА О МОСКОВСКОМ АРТИСТИЧЕСКОМ КРУЖКЕ**

Весьма ощутительный недостаток эстетических удовольствий и необеспеченность положения представителей русского искусства давно вызывали в Москве заботливость общества. Вследствие этих побуждений, с утверждения его высокопревосходительства господина министра внутренних дел, в 1865-м году основан в Москве Артистический кружок. Цель учреждения: 1) доставлять обществу эстетические удовольствия исполнением музыкальных произведений и литературных чтений и 2) предлагать материальные пособия нуждающимся артистам, художникам и их семействам.

В первый год существования (по 1-е января 1867 г.) Артистический кружок 1) успел дать 86 музыкально-литературных вечеров; на них исполнено 232 пьесы классической и оперной музыки и прочитано 31 литературное произведение; 2) начинающим артистам

давал возможность познакомиться с публикой, вследствие чего некоторые из них упрочили свое положение, приобретая казенные места, а другие – частные уроки, 3) и в помощь нуждающимся артистам выдал то в виде платы за исполнение музыкальных сочинений, то в виде пособия их семействам около 3000 рублей.

Артистический кружок, не имея игорного характера, не имеет и тех выгод, какими пользуются другие клубы, исключительно посвященные игре, и ему трудно при своих ограниченных средствах стать сразу твердо и укрепиться в материальном отношении. В первый же год своего существования Артистический кружок уплатил долг первоначального обзаведения 13 569 руб., что значительно ослабило его средства, и ему необходима в те кущем году материальная поддержка, без чего существование его невозможно.

Старшины Артистического кружка, озабочиваясь о том, чтобы спасти это полезное учреждение, прибегают с покорнейшею просьбою оказать им поддержку разрешением лотереи в 25 000 билетов по рублю серебром с тем, чтобы сумма выигрышей составляла 10 000 руб. Таким образом, Артистический кружок, получивши до 15 000 руб. пользы от лотереи в текущем году, этим очень незначительным пожертвованием со стороны общества может совершенно упрочить свое существование и расширить круг своей цивилизующей и благотворительной

деятельности.

*А. Н. Островский. 28 февраля 1867 г.*

Самая крупная игра – «сотенный» стол, где меньшая ставка сто рублей, – велась в одной из комнат вверх или вниз.

Иногда кроме сотенной «железки» в этой комнате играли в баккара.

Раз игра в баккара дошла до невиданных размеров. Были ставки по пяти и десяти тысяч. Развели эту игру два восточных красавца с довольно зверскими лицами, в черкесках дорогого сукна, в золотых поясах, с кинжалами, сверкавшими крупными драгоценными камнями. Кем записаны они были в первый раз – неизвестно, но в первый же день они поразили таким размахом игры, что в следующие дни этих двух братьев – князей Шаховых – все записывали охотно. Они держали ответственный банк в баккара без отказа, выложив в обеспечение ставок пачки новеньких крупных кредиток на десятки тысяч. За ними увивались «арапы».

Ежедневно все игроки с нетерпением ждали прихода князей: без них игра не клеилась. Когда они появлялись, стол оживал. С неделю они ходили ежедневно, проиграли больше ста тысяч, как говорится, не моргнув глазом – и вдруг в один вечер не явились совсем (их уже было решено провести в члены-соревнователи Клуба).

– Где же азиаты? – волновались игроки.

– Напрасно ждете. Их вы не увидите, – заявил вошедший в комнату репортер одной газеты.

– ???

Молчаливое удивление.

– Сегодня сообщили в редакцию, что они арестованы. Я ездил проверить известие: оба эти князя никакие не князья, они оказались атаманами шайки бандитов, и деньги, которые проигрывали, они привезли с последнего разбоя в Туркестане. Они напали на почту, шайка их перебила конвой, а они собственноручно зарезали почтовых чиновников, взяли ценности и триста тысяч новенькими бумажками, пересылавшимися в казначейство. Оба они отправлены в Ташкент, где их ждет виселица.

Скажут:

– Почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительную деятельность?

И автор на это смело ответит:

– Потому, что для нашего читателя интереснее та сторона жизни, которая даже во времена существования клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась «общественная деятельность» этих клубов.

О последней так много писалось тогда и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну казовую сторону: исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей и артистов с кр уп-

ными именами, о которых будут со временем писать... В связи с ними будут, конечно, упоминать и Литературно-художественный кружок, насчитывавший более 700 членов и 54 875 посещений в год.



*В. Суриков. Zubovskiy bul'var zimoy*

Еще найдутся кое у кого номера журнала «Известия Кружка» и толстые, отпечатанные на веленовой бумаге с портретом Пушкина отчеты.

В них, к сожалению, ни слова о быте, о типах игроков, за счет азарта которых жил и пировал клуб.



# Львы на воротах

Старейший в Москве Английский клуб помнил еще времена, когда «шумел, гудел пожар московский», когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец.

Дворец стоял в вековом парке в несколько десятин, между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок».

Дворец этот был выстроен в половине восемнадцатого века поэтом М. М. Херасковым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов: Херасков, Черкасский, Тургенев, Н. В. Карамзин, Енгальчев, Кутузов и «брат Киновион» – розенкрейцеровское имя Н. И. Новикова.

В 1792 году арестовали Н. И. Новикова, его кружок, многих масонов.

После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновен-

ности, и в 1831 году в нем поселился Английский клуб.

Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед, которым в 1806 году Английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона: «...Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами».

Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники – каменные львы с огромными, отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукулловский обед. Они смотрят безучастно на шумные, веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в Музей Революции, и на пролетающие по Тверской автомобили... Так же безучастно смотрят, как сто лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк... Так же безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров.

Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в воланы дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра: домой или к новому барину?

Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в «деревню, в глушь, в Саратов», а семью разбросает по другим вотчинам...

Судьба крепостных решалась каждую ночь в «адской ком-

нате» клуба, где шла азартная игра, где жизнь имений и людей зависела от одной карты, от одного очка... а иногда даже — от ловкости банкомета, умеющего быстротой рук «исправлять ошибки фортуны», как выражался Федор Толстой, «Американец», завсегдатай «адской комнаты»... Тот самый, о котором Грибоедов сказал:

Ночной разбойник, дуэлист,  
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,  
И крепко на руку нечист...

И, по-видимому, «Американец» даже гордился этим и сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него... Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил «Американца» в Зарецком словом: «Картежной шайки атаман».

Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких.

Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов; создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни.

Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких типах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт Английского клуба.

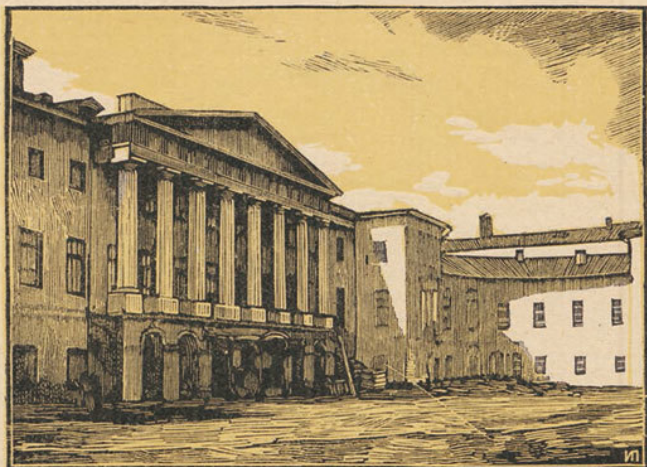
Герцен в «Былом и думах» писал, что Английский клуб менее всего английский. В нем собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян...

Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек-магазинов.

Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии двадцатого века, и перед глазами – розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце – Музее Революции – всякий может теперь проследить победное шествие русской революции, от декабристов до Ленина.

И, как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувшей из глубины грозных веков, встречают входящих в Музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Коненкова. А как раз над ними – полотно художника Горелова:

Это с Дона челны налетели,  
Взволновали простор голубой, –  
То Степан удалую ватагу  
На добычу ведет за собой...



### *Английский клуб*

Это первый выплыв Степана «по матушке по Волге». А вот и конец его: огромная картина Пчелина «Казнь Стеньки Разина». Москва, площадь, полная народа, бояре, стрельцы... палач... И он сам на помосте, с грозно поднятой рукой, прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее:

С паденьем головы удалой  
Всему, ты думаешь, конец —  
Из каждой капли крови алой

Поднимаешься на пролет лестницы – дверь в Музей, в первую комнату, бывшую приемную. Теперь ее название: «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый Музей с большим бюстом первого русского революционера – Радищева.

В приемной Английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов «на позорище и устрашение» перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь и 16 января 1775 года казнили.

На том самом месте, где стоит теперь клетка, сто лет тому назад стоял сконфуженный автор «Истории Пугачевского бунта» – великий Пушкин.

А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела «черная доска», на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «лифостротон»<sup>8</sup>.

И рисует воображение дальнейшую картину: вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой, к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской, к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре,

---

<sup>8</sup> Судилище.

на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы... Лето... Пусто в Москве... Все разъехались по усадьбам... Пусто в квартире... Некуда идти... И видит он клуб, «львов на воротах», а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты... и его любимая «говорильня». Там его друзья – Чаадаев, Нащокин, Раевский...

И пошел одиноко поэт по бульвару... А вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в Английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф триста рублей, а я бы весь Английский клуб готов продать за двести рублей».

Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его.

В письме к П. В. Нащокину А. С. Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка... Емелька Пугачев оброчный мой мужик... Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой и все идет на расплату».

И Пушкин и Грибоедов хорошо знали клуб. «Горе от ума» – грибоедовская Москва, и многие типы его – члены

Английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из «Журнала старшин» клуба, где записывались только обстоятельства почему-либо «достопамятные», следующее: «1815 г. Предложенный от члена Сибилева из кандидатов в члены г-н Чатский по баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран». Забаллотировали в Английский клуб – это событие! О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чатский – это Чацкий. И является вопрос: за что могли не избрать в члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки? Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в «говорильне».





Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в «говорильне» могли им проноситься как кандидатом в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого «якобинца». Фамусовы, конечно, Чацкого не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чатский, забаллотированный в 1815 году, и Чацкий Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию.

«Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клуба». Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в Английском клубе. Слишком близок ему был П. Я. Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в Английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в «говорильне» кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки...

Сейчас, перечитывая бессмертную комедию, я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный Чатский и есть Чацкий. Разве Фамусов, «Аглицкого клуба верный сын до гроба», – а там почти все были Фамусовы, – потерпел бы Чацкого в своей среде? А как забаллотировать? Да пустить слух,

что он... сумасшедший!..

А весь монолог Репетилова – разве это не портреты членов Английского клуба?

*Чацкий.* Чай в клубе?

*Репетилов...* В Английском!..

У нас есть общество, и тайные собрания

По четвергам. Секретнейший Союз.

*Чацкий...* В клубе?

*Репетилов.* Именно... Шумим, братец, шумим!

Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с Английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим, – но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно, от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года, был членом клуба и, по преданиям, читал в «говорильне» лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал – а его слушали «ничтожные потомки известной подлостью прославленных отцов...»

В своих письмах Чаадаев два раза упоминает Английский клуб.

В письме к А. С. Пушкину в 1831 году: «...я бываю иногда – угадайте где? В Английском клубе! Вы мне говорили, что Вам пришлось бывать там; а я бы Вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев...»

Потом, уже перед концом своей жизни, Чаадаев, видимо нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой:

«...К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен пятьюдесятью рублями, каковая сумма Вашим кузеном уже давно исчерпана...»

За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в Английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в «говорильне» смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве.

И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в «говорильне» и не без тревоги спрашивал приближенных:

– А что об этом говорят в Москве в Английском клубе?

Здесь в самые страшные николаевские времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же «Журнале старшин» 24 сентября записано: «Офисиянт клуба Алексей Герасимов Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью: „Ивану Петровичу Бибикову, полковнику жандармов, прошу старшин вручить ему“. Старшины по представлению им письма положили, пригласив г-на Бибикова, в присутствии его то письмо сжечь, а буде Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему оное взять, которое однако ж Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено...»

В книге Семенникова (Госиздат, 1921 г.) «Книгоизда-

тельская деятельность Н. И. Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится В. В. Чичагов. Это имя напомнило мне многое.

В прошлом столетии, в восьмидесятых годах я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика масона, в былые времена тоже члена Английского клуба, который много рассказывал о доме поэта М. М. Хераскова.

Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом генерал-поручиком А. М. Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти.

При М. М. Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть, фронтон с колоннами и ворота со львами были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Херасковы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроен, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен.

В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая «говорильня», к которой прислушивался царь.

За сто лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом.

Со смертью Чаадаева в 1856 году «говорильня» стала «кофейной комнатой», где смелые речи сменились пересказом

статей из «Московских ведомостей» и возлечением в креслах пресытившихся гурманов и проигравшихся картежников.

Л. Н. Толстой, посещавший клуб в период шестидесятых годов, назвал его в «Анне Карениной» – «храм праздности». Он тоже вспоминает «говорильню», но уже не ту, что была в пушкинские времена.

Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее «умною». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике.

Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в шестидесятых годах вернувшегося из сибирской каторги:

«Пройдясь по залам, уставленным столами со старичками, играющими в ералаш, повернувшись в inferнальной, где уж знаменитый „Пучин“ начал свою партию против „компаний“, постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, и, заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать».

Одна из особенностей «умной комнаты» состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в Английском клубе.

Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде.

Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста, пустили бы сюда?

Нет и нет!

Если мне несколько раз и в прошлом и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены Английского клуба.

Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину.

Роскошь поразительная. Тишина мертвая – кроме «инфернальной», где кипела азартная игра на наличные: в начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол.



*Неизвестный художник. Московский дворик близ Волхон-  
ки*



Только сохранил свой старый стиль огромный «портретный» зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю – в среду и в субботу.

Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих, десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по четыре стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось.

Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед баринном, молчаливо делающим какой-то, им двоим известный жест.

Тень лакея, такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик.

Этот «портретный» зал назывался членами клуба в шутку «детская».

Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому, что там велась слишком мелкая игра, играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «те», и все смолкало.

Вход в «портретную» был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб.

Аванзал – большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемый дежурным старшиной.

Это были дни баллотировки в действительные члены.

По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные, мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину – Жуковского табаку в трубках с сажеными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи.

Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички – ну совсем князь Тугоуховский из «Горе от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или «кофейную» и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел.

– Кресло Геннадия Владимировича.

Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал.

Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будит его, посматри-

вая на часы:

– Ваше превосходительство!

Часы в этот момент начинают бить девять.

– Ваше превосходительство, кашка поставлена.

– А? Уж девять? Слышу!

Полакомится кашкой – и ведут его в карету.

Направо из аванзала вход во «фруктовую», где стояли столы с фруктами и конфетами, а за «фруктовой» – большая парадная столовая.

Левая дверь из аванзала вела в уже описанную «портретную».

В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в «говорильне» на ходу, мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной седеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал «придворную накипь», по протекции рассылаемую по стране управлять губерниями.

Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он «не посрамлен никакими чинами и орденами».

Сидящий военный был А. А. Пушкин – сын поэта. Второй, толстый, с седеющими баками, был губернатор

В. С. Перфильев, женатый на дочери Толстого, «Американца».

Льва Голицына тоже недолюбливали в Английском клубе за его резкие и нецензурные по тому времени (начало восьмидесятых годов) речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда, зиму и лето, в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах.

Извозчики звали его «диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан Дели» – сумасшедший Лев.

Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик вино градных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый Свет» и про давал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку.

– Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! – заявил он.

В конце девяностых годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор.

Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа

бросилась к Страстному и как в это время в открывшихся дверях голицынского магазина появилась в одном сюртуке, с развевающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку.

Драматург и писатель М. Н. Загоскин, являющийся членом Английского клуба, первый раз посетив легендарное здание на Тверской, был поражен увиденным. Среди многочисленных комнат, удививших его, на него произвела яркое впечатление атмосфера библиотеки: «Пройдя небольшим коридором, мы вошли в прекрасную залу; по стенам ее стояли шкафы с книгами, а посередине – один длинный стол и два других стола поменьше, покрытые журналами и газетами. Нельзя не полюбоваться отличным порядком и чистотой, в которой содержится эта журнальная комната. Особенного рода освещение, очень яркое, но не вредящее зрению, спокойная мебель, строго наблюдаемая тишина, множество и разнообразие периодических изданий – одним словом, тут все придумано для удовольствия и удобства читающих».

Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Л. Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал.

Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул:

– Я именинник, это – мои гости!

Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в «говорильне» клуба возмущался действиями властей.

Конечно, такой член Английского клуба был не по нутру тайным советникам, но в «говорильне» его слушали.

Однажды в «говорильне» Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, так же горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина.

– Мы богаты, наш юг создан для виноградарства!

Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами – В. И. Мартынов, видный чиновник удельного ведомства, Мартынов – сын убийцы Лермонтова.

Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена: Лермонтов, Пушкин, Гоголь...

Это был А. А. Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении «Пальне» под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину: бюст на гранитном пьедестале.

Бывали здесь и другие типы. В начале восьмидесятых годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, И. И. Красовского. Про него было пущено, кажется Шумахером, четверостишие:

Краса инспекции московской  
И всей губернии краса.  
Иван Иванович Красовский,  
Да где же ваши волоса?

Бывал и обер-полицмейстер А. А. Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители Английского клуба извещались: входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим, бархатным голосом извещал:

- В Городской части пожар номер пять, на Ильинке.
- В Рогожской, в Дурном переулке пожар номер три.

И с первым появлением этого вестника выскакивал А. А. Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин.

Собирались иногда в «кофейной» П. И. Бартенев – издатель «Русского архива» и К. К. Тарновский – драматург.

За «говорильней» следовала большая гостиная; в ней, как и в «портретной», ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры.

Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и роббе-ра.

За большой гостиной следовала «галерея» – длинная комната, проходная в бильярдную и в читальню, имевшая также

выход в сад.

Бильярдная хранила старый характер, описанный Л. Н. Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Л. Н. Толстому.

На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру тысячу рублей и пережил неприятную минуту: денег на расплату нет, а клубные правила строги – можно и на «черную доску» попасть.

Чем бы это окончилось – неизвестно, но тут же в клубе находился М. Н. Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, о чем дело, выручил Л. Н. Толстого, дав ему займы тысячу рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казачи».

В левом углу проходной «галереи» была дверка в «инfernальную» и в «старшинскую» комнаты, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на «черную доску».





*А. Саврасов. Вид на Московский Кремль*

Рядом со «старшинской» был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась «ажидация», а у членов – «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в «инфернальной» до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах.

Эта «ажидация» для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду.

За «галереей» и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди.

Входишь – обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло. Ни звука. Только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются.

Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды – творчество художников времен Хераскова.

Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов. Окна занавешены. Только в верхнюю, полукруглую часть окна, незашторенную, глядит темное небо.

Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов, — по преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент — головы каких-то рыцарей.

Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк... Часы бьют полночь. С двенадцатым ударом этих часов в ближайшей зале забили другие — и с новым двенадцатым ударом в более отдаленной зале густым, бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта...

В ярком блеске «храм праздности» представлялся в дни торжественных обедов.

К шести часам в такие праздники обжорства Английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки... Стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набита ближайшая к большой гостиной «говорильня». А двери в большую гостиную затворены: там готовится огромный стол с выпивкой и закуской...

— Сезон блюсти надо, — говаривал старшина по хозяйственной части П. И. Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. — Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга... Мар-

товский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

## НАХОДЧИВЫЕ ВОРЫ

20 октября во двор дома Английского клуба на Тверской ул. забрались громилы и, по взломе дверного замка, проникли в сарай при колониальном магазине купца И. С. Семеновича, откуда похитили пять больших ящиков с фруктами и виноградом. Пронося свою добычу двором, громилы встретились с дворником. Последний спросил: «Куда несете?» – «Вестимо, в Английский клуб, хозяин приказал», – ответили вору и безнаказанно скрылись.

*«Московский листок». 04 ноября (22 октября) 1901 года*

Все это у П. И. Шаблыкина было к сезону – ничего не пропустит. А когда, бывало, к новому году с Урала везут багряную икру зернистую и рыбу – первым делом ее пробуют в Английском клубе.

Настойки тоже по сезону: на почках березовых, на почках черносмородинных, на травах, на листьях, – и воды разные шипучие – секрет клуба...

Но вот часы в залах, одни за другими, бьют шесть. Двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор... Толпы окружают закусочный стол. Пьют «под селедочку», «под парную белужью икорку»,

«под греночки с мозгами» и т. д. Ровно час пьют и закусывают. Потом из залы-читальни доносится первый удар часов – семь, – и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей.

– Кушанье поставлено!

Блестящая толпа человек в двести движется через «говорильню», «детскую» и «фруктовую» в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом.

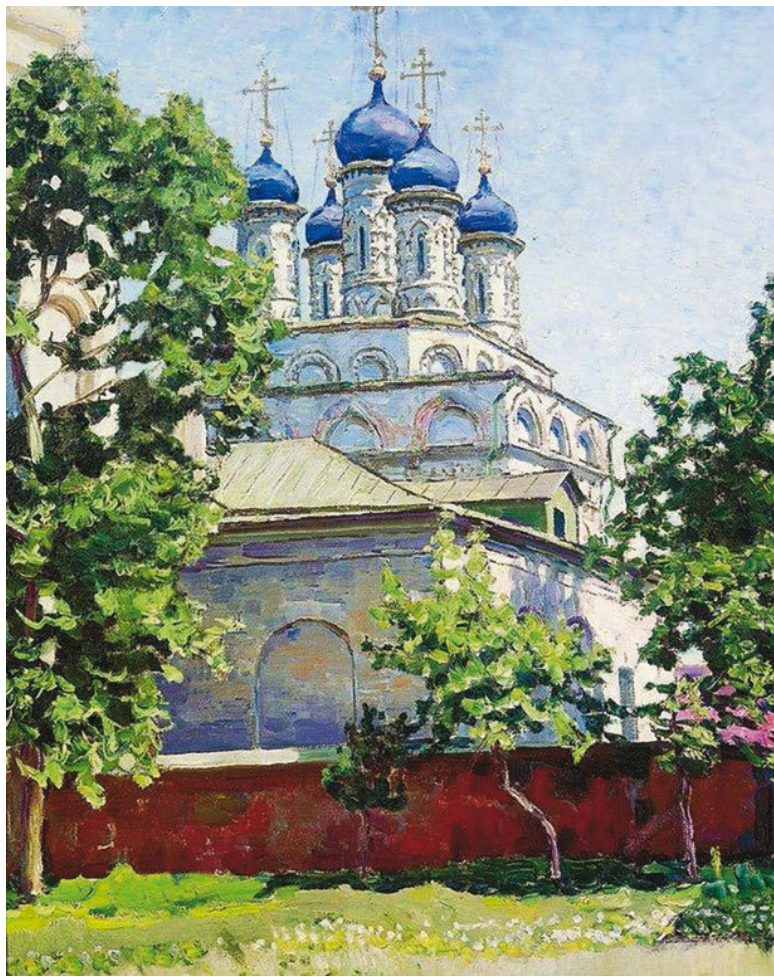
Занимают места, кто какое облюбует.

На хорах – оркестр музыки. Под ним, на эстраде хоры – или цыганский, или венгерский, или русский от «Яра».

Эстрада в столовой – это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основания клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины.

Уселись. Старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитары – и грянул цыганский хор.

А налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли как статуи, в белых одеждах и накрахмаленных белых колпаках, с серебряными черпаками в руках, служители «храма праздности».



*А. Васнецов. Троицкая церковь на Барсеньке*

Теперь здесь зал заседаний Музея Революции.

Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть, вместо шестисот членов осталось двести. Понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество.

Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственно Английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В Английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер – постоянным членом, полиция не смела и нос показать.

После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли; пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор возведением на нем по линии Тверской, вместо стильной решетки и ворот с историческими львами, ряда торговых помещений.

Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций. Подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что «клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям», и закончили предложением «не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений».

Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад Английского клуба, исторический дом поэта Хераскова, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал.

Дела клуба становились все хуже и хуже... и публика другая, и субботние обеды – парадных уже не стало – скучнее и малолюднее... Обеды накрывались на десять-пятнадцать человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летие дома Романовых.

А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожая, аванзал, «портретная», «кофейная», большая гостиная, читальня и столовая. А все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры «инфернальная» была заменена большой гостиной, где метали баккара, на поставленных посредине столов играли в «железку», а в «детской», по-старому шли игры по маленькой.

В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватило и использовало для своих нужд какое-то учреждение.

Одним из первых распоряжений организованной при Наркомпросе Комиссии по охране памятников искусства и старины было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца.

Революция открыла великолепный фасад за железной ре-



шеткой со львами, которых снова посадили на воротах, а в залах бывшего Английского клуба был организован Музей старой Москвы.

Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего Английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва», начало Музея Революции. Это – первая выставка, начало революционного Музея в бывшем «храме праздности».

Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет не топлённых роскошных залах Английского клуба. Красные флаги расцвели холодный мрамор старинных стен. Из «портретной» доносятся говор, шарканье ног, прорезаемые иногда звоном шпор...

Тот же «портретный» зал. Только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве.

Зал переполнен. Наркомы, представители учреждений, рабочих организаций... Пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели... В первый раз за сто лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин – каждый находит свое, близкое ему по переживаниям.

Стены, увешанные оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомками... На фотографиях эпизодов узнают друг

друга... Говорят...

Бойцы вспоминают минувшие дни  
И битвы, где вместе рубились они.

# Студенты

До реакции восьмидесятых годов Москва жила своею жизнью, а университет – своею.

Студенты в основной своей части еще с шестидесятых годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в «Латинском квартале», между двумя Бронными и Палашевским переулком, где немощные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами.

Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых, с флигелями, на Козихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами.

Первый дом назывался между своими людьми «Чебышевская крепость», или «Чебыши», а второй величали «Адом».

Это – наследие нечаевских времен. Здесь в конце шестидесятых годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы и еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка «Ад».

В каждой комнатухе студенческих квартир «Латинского квартала» жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг.

Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь: сегодня двое идут на лекции, а двое

других дома сидят; завтра они пойдут в университет.

Обедали в столовых или питались всухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого, четверть фунта, стоила три копейки, и ее хватало на четверых дней на десять.

К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики – объявления о сдаче комнат внаймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать.

В семидесятых годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство, из самых радикальных, были одеты по моде шестидесятых годов: обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широкими полями и иногда – верх щегольства – плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала восьмидесятых годов, времени реакции.



*Н. Ярошенко. Студент*

Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый расход – студентам предписано было носить новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами.

Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. «Московские ведомости», правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой.

Большая Дмитровка, начинаясь у Охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером.

Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно сто лет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где сто лет печатались «Московские ведомости».

Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ре-

монтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходявшие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами от летевшей из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакция и квартира редактора, – на сквер.

Постановив на сходке наказать «Московские ведомости» «кошачьим концертом», толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере, перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц.

Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла...

Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой – палками и камнями. По бульвару металась лошадь без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю: на помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. «Ляпинка» – описанное выше общежитие студентов Училища живописи – вся сплошь вы-

сыпала на бульвар.

«GAUDEAMUS!..»

Шумно, весело, даже, если хотите, бесшабашно справляла вчера Москва традиционный Татьянин день. Сколько бы не читали нравоучений, сколько бы не писали о необходимости более разумного проведения университетского праздника, – все эти сентенции в день 12 января идут насмарку. Жизнь коротка, а молодость еще короче. И Татьянины дни пройдут. Как же их не отпраздновать, пока сердце молодо? [...]

*«Московский листок». 26 (13) января 1902 года*

Когда окруженную на бульваре толпу студентов, в числе которой была случайно попавшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму.

На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова.

– Сидор Мартыныч, что с вами? – крикнул он.

– Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами



в ривалюцию влопалси! — изо всех сил рывкнул Громов.

— Революция... Революция... — отозвалось в толпе и покатилося по всей Москве.

Но до революции было еще далеко!

Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом.

В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекция и педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие, но и это для большой публики прошло незаметно.

С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городских и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают Моховую около Охотного ряда и Воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадает на этих улицах.

Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более ста пятидесяти студентов

было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены «временных правил», на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты.

Эта мера, в связи с волнениями студентов, вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось: говорили об этом втихомолку.

Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них:

# Сейте!

«Сейте разумное, доброе, вечное»<sup>9</sup>.  
Сейте студентов по стогнам земли,  
Чтобы поведать все горе сердечное  
Всюду бедняги могли.

Сейте, пусть чувство растет благородное,  
Очи омочит слеза, —  
Сквозь эти слезы пусть слово свободное  
Руси откроет глаза,

Пусть все узнают, что нравами грубыми  
Стали опять щеголять,  
Снова наполнится край скалозубами,  
Чтоб просвещение гнать.

Пусть все узнают: застенки по-старому  
И палачи введены,  
Отданы гневу их дикому, ярому  
Лучшие силы страны.

Вольные степи ветрами обвеяны,  
Русь широка и грозна —  
Вырастет новое — всюду посеяны

---

<sup>9</sup> Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

Светлых идей семена.

Те, что упорно и долго не верили  
Правде свободных идей,

Ныне поймут – обсчитали, обмерили,  
Выгнали их сыновей.

Всех разогнали, а всех ли вы выбили,  
Сделавши подлость и срам?  
Это свершили вы к вашей гибели.  
Память позорная вам!

И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию.

Другое стихотворение, «Судак и обер-полицмейстер», описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках:

Я видел грозные моменты,  
Досель кружится голова...  
Шумели буйные студенты,  
Гудела старая Москва,

Толпы стремились за толпами...

Свистки... Ура... Нагайки... Вой...  
Кругом войска... за казаками  
Трухтит жандармов синий строй.

Что улица – картины те же,  
Везде народ... Везде войска...  
Студенты спрятаны в манеже,  
Шумят, как бурная река.

И за студентами загнали  
В манеж испуганный народ,  
Всех, что кричали, не кричали,  
Всех, кто по улице пройдет, –  
Вали в манеж!

А дело жарко,  
Войскам победа не легка...  
Лови! Дави!  
Идет кухарка,  
Под мышкой тащит судака...

Вскипели храбрые войска!  
Маневр... Другой... И победили!  
Летят кто с шашкой, кто с штыком,  
В манеже лихо водворили  
Кухарку с мерзлым судаком...



И. Репин. Студент-нигилист

Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Моховую, вдруг видят: мчится на своей паре с отлетом, запряженной в казенные, с высокой спинкой, сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо.

– Я вас прошу разойтись! – закричал, приподнявшись в санях, генерал.

В ответ – шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики:

– Долой самодержавие!

И опять хохот и крики:

– Долой самодержавие!... Долой!..

Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натывается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит:

– Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет...

И тычет в него оттаявшим судаком.

А у подъезда, под хохот толпы, городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью: «Долой самодержавие!»

Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в «Ляпинке» для расклейки по городу:

«Долой самодержавие!»

Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще

был новинкой.

Московский университет. «Татьянин день», 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете.

Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на дном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: «спяна» и «Татьяна»! Это был беззаботно-шумный гулящий день. И полиция, – такие она имела расчеты и указания свыше, – в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.

Вчера в Литературно-художественном кружке Татьянин день, традиционный праздник российской университетской науки, был отпразднован очень людным подписным обедом, на котором присутствовало более 150 чел. Обед сопровождался многими речами и тостами [...] – за русскую науку, за старейший ее храм, нашу московскую alma mater, за московских профессоров и студентов, за искусство, этого верного друга и сотрудника науки в ее работе на пользу прогресса и торжества светлых начал, [...] и т. д.

*«Новости дня». 26 (13) января 1902 года*





*В. Маковский. Вечеринка*

Тогда любимой песней была «Дубинушка».

12 января утром – торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками: потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то синими околышами... Но между ними сверкают шитые воротники роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками

шпаг по моде причесанные франтики; это дети богачей.

По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Gaudeamus igitur»<sup>10</sup>, движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота; белоподкладочники, надев «николаевские» шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысаках в родительские палаты.

---

<sup>10</sup> «Итак, радуйтесь, друзья...» (название старинной студенческой песни на латинском языке).



*Ф. Алексеев. Вид на Воскресенские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы*

Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже

«Gaudeamus» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед «Московскими ведомостями» все останавливаются и орут:

И вырежем мы в заповедных лесах  
На барскую спину дубину...

И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты, ради этого дня, обычные мягкие дорогие ковры.

Еще с семидесятых годов хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки.

Традиционно в ночь на 12 января огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставались только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.

В этот день даже во времена самой злейшей реакции это был единственный зал в России, где легально произносились

смелые речи. «Эрмитаж» был во власти студентов и их гостей – любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов.

Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол – в зале дым коромыслом! Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие «Татьянин день» в «Эрмитаже», когда В. А. Гольцева после его речи так усиленно «качали», что сюртук его оказался разорванным пополам; когда после Гольцева так же энергично чествовали А. И. Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как, тотчас после Чупрова, на стол вскочил косматый студент в красной рубаше и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя на «о», по-семинарски:

– То-оварищи!.. То-оварищи!..

– Долой! Долой! – закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров.

– То-оварищи! – упорно гремел бас.

– До-о-олой! – вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола.

## МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИКЪ

Положение о чрезвычайной охране будет сохранено в Москве до 15-го января, так как возможно ожидать волнений 9-го января, в годовщину рабочего движения в Петербурге и 12 января в Татьянин день. Семеновский

полк и другие войска, командированные в Москву на время беспорядков, будут расквартированы здесь на все время чрезвычайной охраны.

*«Русский голос» («Русский листок»)*

*09 января (27 декабря) 1906 года*

Но бас новым усилием покрыл шум:

– Да, долой!.. – грянул он, грозно подняв руки, и ближай-  
шие смолкли.

– Долой самодержавие! – загремел он еще раз и спрыгнул  
в толпу.

Произошло нечто небывалое... Через минуту студента качали, и зал гремел от криков.

А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками:

– Долой самодержавие!..

И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах и на знаменах и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие.

В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг пятого года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно пятнадцатого октября этого года тоже в стенах и дворах это-

го старейшего высшего учебного заведения.

# Нарышкинский сквер

Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина, и внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница.

Еще в 1926 году, когда перемаскивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили.

Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом С. П. Нарышкиной. В шестидесятых годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадил на ней сад и подарила его городу, который и назвал это место Нарышкинским сквером.

Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в пятидесятых годах от князя Мещерского.

Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через



дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову у которого в 1849 году его купил титулярный советник А. В. Сухово-Кобылин.

Этот титулярный советник был не кто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского», Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который и жил здесь до 1859 года...

В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер.

После смерти Шувалова, в конце девяностых годов, Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска:

«Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды».

Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки, от кондитера к кондитеру: от Завьялова к Бурдину Феоктистову и другим.



*А. В. Сухово-Кобылин*

То всю ночь сверкали окна огнями и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам, то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших «вечную память».

Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки; бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении... Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались... Такой случай в восьмидесятых годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.

Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир: на паре крупных лошадей в белоснежной сбруе, под голубой, если невеста блондинка, и под розовой, если невеста брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке и невеста, вся в белом, с венком флердоранжа и с вуалью на голове, были на виду прохожих.

Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену – с холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с «кавалерией» и «без кавалерии». Военные с обширной «кавалерией» на груди, иногда вплоть

до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, не «именитому», имевшему для пиров свои дворцы и «своих» же генералов.

Лакеи ценились по важности вида. Были такие, с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять... только фрак засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике глядя. И вина подавались тоже «по публике».

– Чтоб вина были от Депре: коньяк № 184, портвейн № 211 и № 113... С розовым ярлыком... Знаешь? – заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин.

– Слушаю... только за эту цену пополам придется.

– Ну ладно, пополам так пополам, на главный стол орла, а на задние ворону...

Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище...

«Орел» и «ворона» – и оба Депре!

Были у водочника Петра Смирнова два приказчика – Карзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке, стали разливать свои вина, – конечно, мерзость. Вина эти не шли. Фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли: в паспорте значилось – мещанин Цезарь Депре...

Портвейн 211-й и 113-й... Коньяк 184... Коньяк «финь-шампань» 195... Ярлык и розовый, и черный, и белый... Точно скопировано у Депре... Ну, кто будет вглядываться, что Ц. Депре, а не К. Депре, кто разберет, что у К. Депре орел на ярлыке, а у Ц. Депре ворона без короны, сразу и не разглядишь...

И вот на балах и свадьбах и на поминальных обедах, где народ был «серый», шли вина с вороной...

Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Ц. Депре, компаньон фирмы под этим именем, лицо действительное и паспорт у него самый настоящий.

На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами: толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы – под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее, с жезлом вроде скипетра церемониймейстер, а вслед за ним, под руку с женихом, невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары: сначала – родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой.

Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское: «Редерер» или «Клико» – для почетных и ланинское – для гостей попроще.

Поздравления и тосты. Иногда зазвонит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет туш. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь – барышни и кавалеры – перекидываются через стол шариками хлеба, а потом и все принимают участие в этой игре, и летят через столы головы селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра...

После отъезда «молодых» гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня.

Вчера состоялась богатая купеческая свадьба. Вышла замуж дочь покойного московского городского головы Н. А. Алексеева. На свадьбе присутствовали городской голова кн. В. М. Голицын и вся московская денежная знать.

*«Новости дня». 18 (05) апреля 1904 года*

В городе все еще говорят о пышности свадьбы дочери городского головы с молодым Прохоровым...

Н. И. Прохорову только свадебное торжество обошлось в 25 тысяч рублей. Свадебный обед был заказан по 12 руб. 50 коп. с персоны без вина, а шампанского было выпито 800 бутылок; всем кучерам гостей выдавали по серебряному рублю, а шоферам по зелененькой... Эта статистика занимает так общество потому, что в последние годы вывелись пышные празднества и свадьбы. Даже среди богатого купечества за последнее десятилетие установилось обыкновение ограничивать свадьбу венчанием, поздравлением и отъездом молодых... Теперь Прохоровыми-Гучковыми дан толчок возвращению к старинным свадебным празднествам.

*«Утро России». 29 (16) сентября 1910 года*

На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо меж них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж – тут ему и беда.

Был случай, когда свадебная карета – этот стеклянный фонарь, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, – проезжала в одном из переулков в Хапиловке.

Эта местность особенно славилась своими пиратами. «Молодые» ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население

ние невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу.

– Коим тут местом проехать, ребята?

– А вот сюды, полевей. Еще полевей!

Навели на скрытую водой глубокую рытвину: лошади сразу по брюхо, а карета набок. Народ сбежался – началась торговля, и «молодые» заплатили полсотни рублей за выгрузку кареты и по десять рублей за то, что перенесли «молодых» на руках в дом дяди.

Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось.

На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение.

– Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет! – утешал он гостей.

– Да ведь ноги замерзли!

– А вы калошек не снимайте... Эй, свицар, принеси их степенству калошки...

Так предложил и мне толстый кондитер Феоктистов, когда я раздевался в промерзлой передней.

Еще за кутьей, этим поминовенным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом, и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь



в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги.

Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте, против духовенства, и усердно подливал «святым отцам» и водку и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги.

– Во благовремени и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно, – гулко басил огромный протодьякон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот.

– А вот покойничек рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой... Отец Никодим, пожалуйста по единой, – подтягивал церковный староста, друг покойного.

– Нет, уж я лучше кагорцу Я не любитель рябиновки. Кагорец, оно лучше... крепит, а та послабляет... Я – кагорцу.

– А я вот рябиновочки...

Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком.

Чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом.

И вдруг какой-то звериный рык. Это протодьякон встал, крикнул и откашлялся... Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодьякон рявкнул:

– Вечная память... ве-ечная па-амять!..

И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре.

Поминальный обед кончился.

# История двух домов

При Купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы жены, сибирячки-золотопромышленницы Е. И. Козицкой, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется.

Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве, фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами.

После смерти Е. И. Козицкой дом перешел к ее дочери, княгине А. Г. Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон дочери Белосельского-Белозерского – Зинаиды Волконской. Здесь в двадцатых годах прошлого столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение!

Среди рассеянной Москвы,

При толках виста и бостона,  
При бальном лепете молвы  
Ты любишь игры Аполлона.  
Царица муз и красоты,  
Рукою нежной держишь ты  
Волшебный скипетр вдохновений,  
И над задумчивым челом,  
Двойным увенчанным венком,  
И вьется, и пылает гений.  
Певца, плененного тобой.  
Не отвергай смиренной дани,  
Внемли с улыбкой голос мой,  
Как мимоездом Каталани  
Цыганке внемлет кочевой.

Один из гостей Волконской, поэт А. Н. Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на пьедестале статуи написал какое-то четверостишие, вызвавшее следующий экспромт Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет.  
И, клубясь, издох Пифон;  
И твой лик победой блещет,  
Бельведерский Аполлон!  
Кто ж вступился за Пифона,  
Кто разбил твой истукан?  
Ты, соперник Аполлона,

Бельведерский Митрофан.

В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов.

По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего возка княгиню Марию Волконскую, жену посланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где

Работа кипела под звуки оков,  
Под песни – работа над бездной!  
Стучались в упругую грудь рудников  
И заступ и молот железный.

Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую.

В поэме Некрасова «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко, в снежной тундре, так вспоминает этот незабвенный вечер:

Певцов-итальянцев тут слышала я,  
Что были тогда знамениты,  
Отца моего сослуживцы, друзья  
Тут были, печалью убиты.  
Тут были родные ушедших туда,  
Куда я сама торопилась.  
Писателей группа, любимых тогда,  
Со мной дружелюбно простилась:  
Тут были Одоевский, Вяземский; был

Поэт вдохновенный и милый,  
Поклонник кузины, что рано почил,  
Безвременно взятый могилой<sup>11</sup>,  
И Пушкин тут был...

Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Коринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском дворе, находился до конца семидесятых годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце шестидесятых годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков соседей да у отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в восьмидесятых годах и рассказывали подробности.

---

<sup>11</sup> Веневитинов.



### *Елисеевский магазин*

В середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, родственница владельца, и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик кучер, а на запятках стояли два ветхих лакея в шитых ливреях, и на левой лошади передней пары мотался верхом фореитор, из конюшенных «маль-

чиков», тоже лет шестидесяти.

После возвращения от обедни опять на целую неделю заперались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку производила по субботам полиция. Управляющий отбирал виновных, отправлял их в часть с поименной запиской и с пометкой, сколько кому ударов дать; причем письмо на имя квартального всегда заканчивалось припиской: «при сем прилагается три рубля на розги». Но порка не помогала, путешествия через забор не прекращались, – уж очень соблазнительно было.

По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II вельможей Прозоровским и в сороковых годах очутившийся в руках богатого помещика Гурьева, который его окончательно забросил. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впоследствии, в восьмидесятых годах, в этом доме был «Пушкинский театр» Бренко.

А тогда в нем жили... черти.

Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение.

Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный, из аракчеевских сол-



дат, получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти.

Но вот и в доме Белосельских появилась нечистая сила! Слух о привидении пошел со двора; из людской перекинулся к барыниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца, известный укротитель Крейцберг увековеченный стихами П. Вейнберга, а верхний продолжал стоять с разбитыми рамами и прогнившей крышей.

Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни: «Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась!» Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне, и на другой день «по старой Калужской дороге», вслед за каретой шестеркой и тройкой немца-управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно.

Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева, в комнате при зверинце, вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам.

Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец.

Перед ним двигалось приведение в белом и исчезло в ве-

стибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, — пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучу соломы и рогож — место ночлега десятков людей.

Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего «крестника», которого он не раз порол по заказу княгининного управляющего.

В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой фореитор изображал «белую даму». В числе арестованных оказалось с десятков поротых клиентов квартального.

Они сознались, что белое привидение было ими выдуманно, чтобы выселить барыню, а главное — зверя-управляющего и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. «Призраки» были жестоко выпороты в Тверской части. Особенно фореитор, изображавший «белую даму».

Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в не отделанных залах дома Гурьева, в бельэтаже, открылся танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах в то время, когда над тан-

цующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали солома и тряпки.

Долго еще боялись этих домов москвичи и, чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный троуар, сначала на одну сторону, а потом на другую. Подальше от нечистой силы.

Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель – поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома: гурьевский – на свое имя, и отделал его под «Пушкинский театр» Бренко, а другой – на имя жены.

Во флигеле дома, где был театр Бренко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году.

После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного Корпуса, а бельэтаж – богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший

на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской.



*Елисеевский магазин. Бакалейный отдел*

Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось.

Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более что о таинственной стройке шла легенда за легендой.

Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрились проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса.

– Индийская пагода воздвигается.

– Мавританский замок.

– Языческий храм Бахуса.

Последнее оказалось ближе всего к истине.

Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла.

Храм Бахуса.

Впрочем, это название не было официальным; в день снятия лесов назначено было торжественное, с молебствием освящение «Магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад «нового стиля» с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер,

высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте.

Так был описан в одной из ненапечатанных «Поэм о Москве» этот храм обжорства:

## **ОТКРЫТИЕ КОЛОНИАЛЬНОГО МАГАЗИНА БР. ЕЛИСЕЕВЫХ**

21 января с большой торжественностью состоялось открытие грандиозного колониального магазина товарищества бр. Елисеевых, на Тверской улице, близ Страстного монастыря.

Открытию магазина предшествовало молебствие с водосвятием перед особо чтимыми чудотворными иконами Спаса Нерукотворного и Иверской Богоматери. ...открытый Елисеевский колониальный магазин будет первым в Москве по своей величине и роскошной отделке. Он устроен в два света и поражает своими размерами, богатой обстановкой и изяществом отделки, которая сделана в стиле Ренессанса. Две громадные электрические люстры, украшенные белым хрусталем, производят большой эффект в магазине.

Товарищество будет развозить по домам свои товары  
на моторе.

*«Московские ведомости». 04 февраля (22 января) 1901 года*

А на Тверской в дворце роскошном Елисеев  
Привлек толпы несметные народа  
Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств...  
Ряды окороков, копченых и вареных,  
Индейки, фаршированные гуси,  
Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,  
Сыры всех возрастов – и честер, и швейцарский,  
И жидкий бри, и пармезон гранитный...  
Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов,  
Уложенных душистой пирамидой,  
Наполнивших корзины в пестрых лентах...  
Здесь все – от кальвиля французского с гербами  
До ананасов и невиданных японских вишен.

Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали за-  
ранее собираться приглашенные, проходя со двора.

Привезенные для молебна иконы стояли посреди магази-  
на, среди экзотических растений.

Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя на-  
род на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод  
жандармов и своими конями разделил улицу для проезда  
важных гостей.

Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери ма-  
газина отворились, и у входа появился громадный швейцар.

Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогах лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.

В зале встречал гостей стройный блондин – Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» – за выставку в Париже выдержанных им французских вин.

Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных, с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.

Нечто фантастическое представляло собой внутренность двухсветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огром-



ный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.

Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними – долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.

В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной седеющей львиной гривой – прямо-таки былинный богатырь.

Станным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.

А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.

Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, – Лев Голицын.

Во второй половине зала был сервирован завтрак.

Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посередине между хрустальными графинами, на-

полненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм – от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого такая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины.

На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.

Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румятели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места так, что окорок казался целым.

Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.

Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбы и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко

к зернышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная – тонким ножом пополам каждая икринка режется – высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская – кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах...



*Елисеевский магазин. Гастрономическо-колониальный отдел*

Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру. Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной

рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.

Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.

Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик священник и протодьякон – бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.

Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.

Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:

– И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после... А теперь, сами видите, владыке не подобает.

Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только покрывал и хвалил.

Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола прото-

дьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.

Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.

Как гора, поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.

– Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие!

А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.

Официальная часть торжества кончилась.

Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.

Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:

Гайда, тройка, снег пушистый,  
Ночь морозная кругом...

Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях.

Бешено заплодировали Anne Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.

На другой день и далее, многие годы, до самой революции,

магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна. – И едят же люди. Ну, ну!

В этот магазин не приходили: в него приезжали.

С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаевских» шинелях с капюшонами.



*Елисеевский магазин. Погреб*

Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».

Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.

– Иван Федорыч, чем полакомите?

Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.

Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.

– Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали... Так прикажете завернуть?

Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.

– Что прикажете, Ольга Осиповна?

– А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть...

– Есть, есть, Ольга Осиповна.

– Да кругленькую коробочку селедочек маринованных.

Вчера муж брал.

– Знаю-с, вчера Михаил Провыч брали...

О. О. Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка.

Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева.

Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда.

Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович, сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день: он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный, еще отцовский магазин.

В один из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично «только с самим» по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить.

Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть.



– Что вам угодно?

– Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и третьего дня, но без вас не хотел. Я – вновь назначенный акцизный чиновник этого участка.

Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит:

– Садитесь, пожалуйста.

– Да позвольте уже здесь, к письменному столу... Мне удобнее писать протокол.

И сел.

– Какой протокол?

– О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе.

Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил:

– Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы, кажется, должны знать.

– Власти разрешили вам, но упустили из виду что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе сорока двух сажен. А где у вас эти сорок две сажени?

Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа: вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина.

Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход

с Козицкого переулка, но, конечно, не для всех.

Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады.

В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицепритии быть не могло.

Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его.

Строились храмы и Фемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Бахуса. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске.

А в Московском Кремле, в нише вестибюля она смотрела во все глаза! И когда она сняла повязку – неизвестно. А может, ее и совсем не было?

17 февраля в Петербурге состоялось редкое купеческое празднество: владелец колониальных и фруктовых магазинов под фирмой «Бр. Елисеевы».

Г. Г. Елисеев по случаю бракосочетания его старшего сына, студента Петербургского Университета с Г-жей В. Ф. Гаммер устраивал обед всем своим служащим, коих и собралось на торжество 230 человек. В числе служащих были представители киевских и московских магазинов фирмы. На обеде присутствовал и сам Елисеев с супругой. В честь новобрачных, совершающих в настоящее время свободное путешествие за границей, были провозглашены многочисленные тосты. При этом следует добавить, что Г-жа Гаммер весьма бедная девушка, Елисеев же архи-миллионер.

*«Брачная газета». 15 (02) марта 1908 года*

С самого начала судебной реформы в кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864-1866 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире: весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини, самого главного атрибута – повязки на глазах.

Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть, и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была.

– Да нельзя же, на всю Европу срам пойдет!

Когда Елисеев сдал третий этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были во-

дружены, как и во всех судах, символы закона: зеркало с ука-  
зом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором  
давным-давно ходили две строчки:

В России нет закона,  
Есть столб, и на столбе корона.

Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах.

Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы  
она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники  
которого оттуда время от времени поднимались волей рока  
в храм Фемиды.

Не повезло здесь богине правосудия: тысячепудовый шту-  
катурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале  
храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил  
и символ закона – зеркало.

Счастье, что Фемида была коммерческая, не признавав-  
шая кровавых жертв, и потому обошлось без них: потолок  
рухнул ночью, в пустом помещении.

Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции.  
И теперь это тот же украшенный лепными работами двусвет-  
ный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров,  
а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые  
для питания продукты.

И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь  
зеркальные стекла.

# Бани

Единственное место, которого ни один москвич не миновал, – это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань.

В восьмидесятых годах прошлого века всемогущий «хозяин столицы» – военный генерал-губернатор В. А. Долгоруков ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и веничком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании «язык почесать».

Каждое сословие имело свои злюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в «дворянское» отделение. Рабочие и беднота – в «простонародное» за пятак.

Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани! Мочалка – тринадцать, мыло по одной копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая, да старых хозяев, содержателей бань, нет, и память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому.

В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало пи-

сать о том, что все знают: ну кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась пословица, очень характерная для многих бань: «Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут!»

И по себе сужу: проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань; встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было шестьдесят самых разнохарактерных, каждая по-своему бань, и, кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами.

Даже в моей первой книге о «Москве и москвичах» я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке не то бывшего Зарайского, не то бывшего Коломенского уезда; помню одно лишь, что деревня была вблизи Оки, куда я часто в восьмидесятых годах ездил на охоту.



### *Вестибюль Центральных бань*

Там, среди стариков, местных жителей, я не раз слышал это слово, а слово это было:

– Мы москвичи!

И с какой гордостью говорили они это, сидя на завалинках у своих избенок.

– Мы москвичи!

И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения, с седыми усами старик:

– Вас я десятки лет знаю и последние книги ваши перечи-

тал... Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить.

Смотрит на меня и улыбается:

– За вами должок есть!

Я положительно удивился.

– Новых долгов у меня нет, а за старые, с ростовщиками, за меня революция рассчиталась, спасибо ей!

Так ему и сказал.

– Да вот в том-то и дело, что есть, и долг обязательный...

– Кому же это я должен?

– Вы всей Москве должны!.. В ваших книгах обо всей Москве написали и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань – не Москва! А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забыть бань.

Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавшие ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое, одна подробность – другую, одного человека знал один с одной стороны, другой – с другой. Слово за слово, подробность за подробностью, рисовали яркие картины и типы.

Оба мы увлеклись одной целью – осветить знакомый нам быт со всех сторон.

– Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве – так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам и обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая



книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так, Ярославская давала половых, Владимирская – плотников, Калужская – булочников. Банщиков давали три губернии, но в каждой по одному-двум уездам, и не подряд, а гнездами. На Москву немного гнезд давал Коломенский уезд: коломенцы больше работают в Петербурге. Испокон века Москву насыщали банщиками уезды: Зарайский – Рязанский, Тульский – Каширский и Веневский. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком, как привозили и дедов, и отцов, и детей наших!..

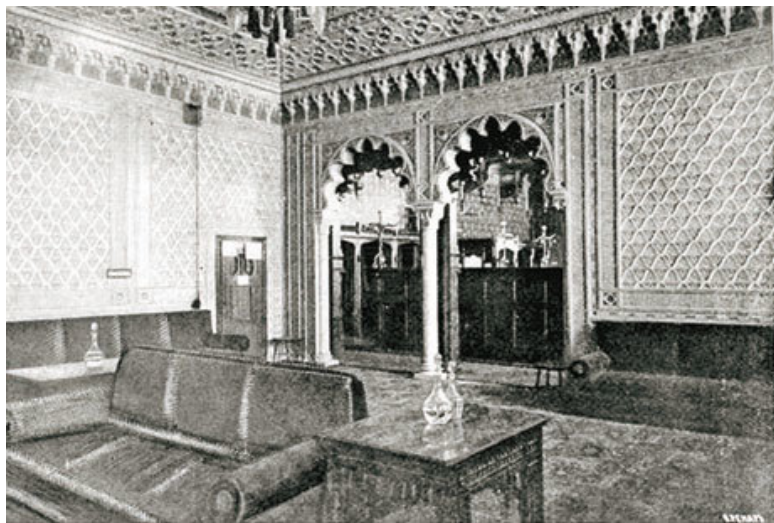
Когда еще не было железных дорог, ребяташек привозили в Москву с попутчиками, на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами, и на жилете – часы с шейной цепочкой.

Все его деревенские родные и знакомые восхищались, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына десяти-двенадцати лет, упрашивал довести его до Москвы к родственникам, в бани.

Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканого белья и выхлопатывают паспорт, в котором приходилось прибавлять года, что стоило денег.

В Москве мальчика доставляли к родственникам и земля-

кам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид.



*Сандуновские бани. Мавританская комната*

Учение начинается с «географии». Первым делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход, потом – где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности.

Работа мальчиков кроме разгона и посылок сливалась с работой взрослых, но у них была и своя, специальная. В два «небанных» дня недели – понедельник и вторник – мальчи-

ки мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях, а в «банные» дни готовили веники, которых выходило, особенно по субботам и накануне больших праздников, в некоторых банях по три тысячи штук. Веники эти привозили возами из глухих деревень, особенно много из-под Гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники.

В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали и цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей бралось самое лучшее мочало – «бараночное», нежное и мягкое, – его привозили специально в московские булочные и на него низали баранки и сушки; оно было втрое дороже кулевого. В два «небанных дня» работы было еще больше по разному домашнему хозяйству и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы, и колотушек от «кусочников».

Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочиепарильщики, труд которых и условия жизни не сравнимы были ни с чем.

С пяти часов утра до двенадцати ночи голый и босой человек, только в одном коротеньком фартучке от пупа до колена, работает непрерывно всеми мускулами своего тела,

при переменной температуре от 14 до 60 градусов по Реомюру, да еще притом все время мокрый.

За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик.

Он не получал ни хозяйских харчей и никакого жалованья. Парильщики жили подачками от мывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось.

– Сколько ваша милость будет! – было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя.

Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть.

В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал – сколько, а молча совал двугривенный, из которого банщику доставался только гривенник.

Парильщики не только не получали жалованья, а половину своих «чайных» денег должны были отдавать хозяину или его заместителю – «кусочнику», «хозяйчику».

## **В БАНЯХ**

В доброслободских банях, у одного из посетителей, мещ. С. Е. Кондакова, украли брюки.

В банях Грушина, по Б. Устинскому пер., у одной

из посетительниц, А. Ф. Грешневой, пропало все платье.

Хорошо смотрят здесь за одеждой посетителей. Положение обокраденных трагикомично.

*«Голос Москвы». 20 (07) мая 1909 года*

Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной.

«Кусочник» следит когда парильщик получает «чайные», он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский двугривенный, он не спрашивает, от кого получен, а говорит:

– От храппаидола... – и выругается.

«Кусочник» платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков: эти были в распоряжении самого хозяина.

«Кусочники» жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от двадцати до ста рублей в месяц.

В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалованья, должны были платить «кусочникам» из своих чаевых разные оклады, в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок.

«Кусочники» должны были стирать диванные простыни, платить жалованье рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у мою-

щихся в «дворянских» банях.

Революция 1905 года добралась до «кусочников». Рабочие тогда постановили ликвидировать «кусочников», что им и удалось. Но через два года, с усилением реакции, «кусочники» опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.

Бичом бань, особенно «простонародных», были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в «горячей» бане. Делалось это следующим образом. Воры «наподдавали» на «каменку», так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара; многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бани и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания.

Была еще воровская система, практиковавшаяся в «дворянских» отделениях бань, где за пропажу отвечали «кусочники».

Моющийся сдавал платье в раздевальню, получал железной номерок на веревочке, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то просто нацеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив в раздевальне, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал платье и исчезал с ним. Моющийся вместо дорогой

одежды получал рвань и опорки.

Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозьева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и «купленные» воры сами следили за чужими ворами, и если какой попадался – плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было: если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь.

Во всех почти банях в раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок.

При поимке вора, положим, часов в семь утра, его, полуголового и босого, привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном...

В полночь, перед запором бань, избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года.

В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям.

Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры, особенно служившие у маленьких хозяйчиков – «грызиков», где они, кроме учения ремеслу, этими хозяйчиками, а главное – их пьяными мастерами и хозяйками употреблялись на всякие побегушки. Их, в опорках и полу-

голых, посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой, они вста вали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили самовары.

Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на Хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой.

С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудились, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как, по-своему развлекаться.

В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гулянья в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк.

А главное, они, уже напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах с калошами да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, – сами мечтали стать такими же.

Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь.

Белье им шили в деревне из неизносимого домотканого холста и крашенины, исключая праздничных рубашек,



для которых покупались в Москве кумач и ситец.

На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя: скоро, и все-таки обут.

В наших банях настоящее столпотворение... Места берутся с боя. С утра и до вечера являются сюда измученные от жары москвичи и освежаются под душами и в ваннах.

*«Раннее утро». 08 августа (26 июля) 1912 года*

В работе – только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик – опойковые сапоги с высокими кожаными калошами.

Заказать такие сапоги было событием: они стоили тринадцать рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане.

Верхнее платье – суконные чуйки, длинные «сибирки», жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами, сначала одно, потом другое.

Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке «капиталы» на задаток портному и сапожнику.

В ученье мальчики были до семнадцати-восемнадцати лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели

обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой «образованный» отрок просил хозяина о переводе его в «молодцы» на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться, а то «мальчику» жениться было неудобно: засмеют в деревне.

Готовясь жениться, произведенный в «молодцы» отправлялся на Маросейку, где над воротами красовались ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов.

Является к Павлову «молодец» со своим дядей, давним приятелем.

– Ион Павлыч! Вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее... женить его пора!

И построит ему Иона Павлыч, что надо, на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бани и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка.

Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился два раза в год – на Пасху и на Рождество.

Так же было и с сапожником. Идет «молодец» с дядей в Каретный ряд к земляку-сапожнику.

– Петр Кирсаныч, сними-ка мерку, жениться едет!

Снимет Петр Кирсаныч мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней и спрашивает:

– Со скрипом?

– Вали со скрипом! – отвечает за него дядя.

– Подковать бы еще, дядь, на медненькие, – просит «молодец». – Кованые моднее!..

– Ладно. А как тебя зовут?

– Петрунька.

Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает:

– Через два воскресенья в третье привезу!

Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам – то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая, только успевай делать.

У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь.

Летом в телегу, а зимой в сани-розвальни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с десятков больших мешков, садится на них, а за кучера – десятилетний внучек.

– Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские!

– Знаю, дедушка, знаю, как всегда!

Воскресенье – бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие: Кирсаныч обещал приехать.

Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом: «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча.

Кирсаных аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать:

– Иван Жесткий!.. Федор Горелый!.. Семен Рюмочка!.. Саша Пузырь!.. Маша Длинная!..

Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам.

И что ни кличка – то сразу весь человек в ней.

Иван действительно жесткий, Федор – всегда чуть не плачет, у Рюмочки – нос красный. Маша – длинная и тонкая, а Саша – маленький, прямо-таки пузырь.

Получают заказы. Рассчитываются. Появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами – чествуют и благодарят земляка Кирсаныха.

Он уезжает уже на «первом взводе» в Китайские бани... Там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька Некованый».

Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый с сияющим лицом, и расхохотался его дядя:

– Некованый!

Опять штоф, опять веселье, проводы в Челышевские бани... Оттуда дальше, по назначенному маршруту. А поздним вечером – домой, но уж не один Кирсаных, а с каким-нибудь Рюмочкиным, – оба на «последнем взводе». Крепко спят на пустых мешках.

Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаныч свою трудовую неделю.

Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали и в пушкинские времена.

По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было трущобное, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.

Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд.

Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых.

Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.

В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раз девальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислужгой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое раз-

нообразное общество, — каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи».

В этих банях перебивала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.

Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ламакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полок и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.

Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с болонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями...

Это началось с Сандуновских бань и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими «дворянскими» и «купеческими» отделениями...

В «простонародные» бани водили командами солдат из казарм; с них брали по две копейки и выдавали по одному венику на десять человек.

Потом уже, в начале восьмидесятых годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в Устьинских банях даже вышел скандал: посетители перебили окна,

и во время драки публика разбежалась голая...

Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в «простонародных» банях не завели никаких.

Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так, в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась – и все пошло по-старому.

Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал.

Дело оказалось простым: на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирали краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирали, и вода по трубам шла в банный пруд.

Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.

Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена, при примитивном водоснабжении, во второй этаж подавать воду было трудно.

Бани делились на три отделения: раздевальная, мыльная и горячая.

При окраинных «простонародных» банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе: во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь и в зимнюю вьюгу.

Правильных водостоков под полами не было: мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на десять пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья...

Такие бани изображены на гравюрах в издании Ровинского. Это Серебрянические бани, на Яузе.

Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях и «голландками» – в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую», и «мыльную».

Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайска и Рузы, и выгружались под Дорогомиловым, на Красном лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост:

– Плоты пришли!

Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно и у кра-



нов стояли вереницы моющих с легкими липовыми шайками, которые сменили собой тяжелые дубовые.

В «дворянских» отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а «простонародные» бани являлись, можно безошибочно сказать, «поликлиникой», где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали.

В окраинных «простонародных» банях эта «поликлиника» представляла такую картину.

Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва.

В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы...

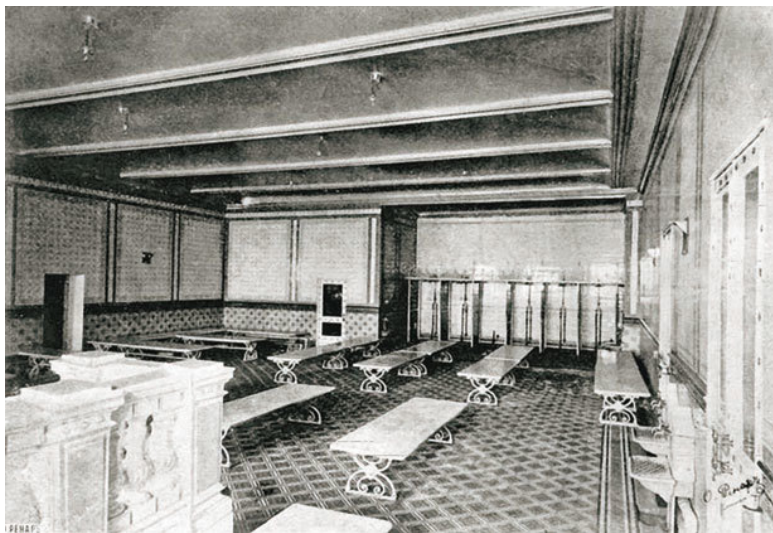
«Мыльная» бани полна пара; на лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится двенадцать банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка.

Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через две-три минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело.

У цирюльников было правило продержать десять минут

банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника.

– Вот сейчас добрею, не велик барин! – раздавалось в ответ.



*Сандуновские бани. Мыльня*

Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел. Под банкой – шишка кровавого цвета. «Хирург» берет гряз-

ный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через три-пять минут она полна крови.

Банка снимается, кровь – прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о «пользительности» банок.

Кроме банок, цирюльники «открывали кровь». Еще в восьмидесятых годах на окраинах встречались вывески с надписью: «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пускают кровь».

Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится.

На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указательным и большим пальцами за нос, подняв ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву, наполовину в мыле.

На другой стороне сидит здоровенный, краснорожий богатырь в одной рубахе с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом – значит, уж операция кончена; из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка, с полотенцем через плечо, и держит таз, большой таз, наполовину полный крови.

Эту операцию делали тоже в «мыльнях», но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол.

«Открывание крови» было любимой операцией крютников, ломовиков, мордастых лихачей, начинавших жиреть лавочников и серого купечества.

В женских банях было свое «лечение». Первым делом – для белизны лица – заваривали в шайке траву-череду а в «дворянских» женщины мыли лицо миндальными высевами.

Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рощения волос.

Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в «простонародных» банях. Они принимали участие и в лечении мужчин.

Приходит, согнувшись, человек в баню, к приказчику, и просит позвать бабку.

– Прострел замучил!

То же повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пущырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей.

Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему лечь брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание».

Бабки в жизни бань играли большую роль, из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань: бабки исправляли вывихи, «заговаривали грыжу», правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок.

Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить:

– Бабушка Анисья, ты уж не оставь меня!

– Ладно, а ты почаще в баньку приходи, это полезно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду!

Еще задолго до того, как Гонецкий переделал Сандуновские бани в банный дворец, А. П. Чехов любил бывать в старых Сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры.

– Антон, пойдем в баню, – зовет его, бывало, брат, художник Николай, весь измазанный краской.

– Пошел бы... да боюсь... вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергиенко... Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и с час что-то рассказывал. Вдруг опять встретим? А я люблю Сандуны... Только кругом воздух скверный: в сухую погоду – пыль, а когда дождь – изо всех домов выкачивают нечистоты в Неглинку.

А. П. Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых Сандунах.

Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в лапотках, мальчиком, еще при Ламакиных, в бани, проработал десять лет, понастроил ряд бань, держал и Сандуновские...

А потом случилось: дом и бани оказались в закладе у миллионера-дровяника Фирсанова.

А что к Фирсанову попало – пиши пропало! Фирсанов давал деньги под большие, хорошие дома – и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда А. П. Чехова держал за пуговицу Сергиенко, «Сандуны» были еще только в залоге у Фирсанова, а через год перешли к нему...

Это был огромный дом казарменно-аракчеевского стиля, с барской роскошной раздевальной – создание известного архитектора двадцатых годов.

После смерти Ивана Фирсанова владельницей бань, двадцати трех домов в Москве и подмосковного имения «Средниково», где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера.

Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны – львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судебных чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что

лично.

Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела.

Кругом нее вилась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами.

В один прекрасный день Москва ахнула:

– Вера Ивановна вышла замуж!

Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала, Гонецкий.

До женитьбы он часто бывал в Москве – летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне – «ни шагу», хотя она его, через своих друзей, старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей.

В числе ее друзей, которым было поручено залучить Гонецкого, оказались и его друзья. Они уверили «Верочку», что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами.

Друзья добились своего! Вера Ивановна Фирсанова стала Гонецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в «Средниково», где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней.

Просмотрев доходы от фирсановских домов, Гонецкий за-

явил:

– А вот у Хлудовых Центральные бани выстроены! Тебе стыдно иметь сандуновские развалины; это срамит фамилию Фирсановых. Хлудовых надо перешибить!

Задев «купеческое самолюбие» жены, Гонецкий указал ей и на те огромные барыши, которые приносят Центральные бани.

– Первое – это надо Сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов, а Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты – знаменитость!

Перестройка старых бань была решена...

– Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань, – заикнулась Вера Ивановна.

– Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя... Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов... Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить Восток и Запад в этом дворце!..

После поездки по европейским баням, от Турции до Ирландии, в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Гонецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг.



Пользуясь постройкой бань, Гонецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете «отставного ротмистра гвардии», променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы.

Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека.

Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых – маленькие саквояжи, а у одного, в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного выше и пошире в плечах своих спутников.

31 января в «Тверских» банях, в доме Катковых, на Тверской улице, парикмахер Яков Мурашкин, по его словам – «ради шутки» кинул в кр. Егора Романова ножницы, которые вонзились ему в правый бок, причинив глубокую рассеченную рану. Романова отвезли в больницу.

*«Московский листок». 15 (2) февраля 1903 года*

Все трое – знаменитые жокеи: в смушковой шапке – Во-

ронков, а два других – англичане: Амброз и Клейдон. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток, – надо сбавить вес, и они возвращаются из «грузинских» бань, где «потнялись» на полках.

Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам: Клейдон живет на Башиловке, а другие – в скаковой слободке, при своих конюшнях.

«Грузинские» бани – любимые у жокеев и у цыган, заседающих Живодерку. А жокеи – любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках.

Цыгане – страшные любители скачек – тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в семидесятиградусную жару, в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей.

Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику – банщику.

Банщик жил на даче в Петровском парке, а бани держал где-то на Яузе.

– У него сегодня четыре именинницы: жена Софья и три дочери «погодки» Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый – так всех дочерей подогнал, чтобы в один день, с матерью заодно, именины справить. Старшие две дочери гимназию кончают.

Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи:

студенты, гимназисты, два-три родственника в голубых рубахах и поддевках, в лаковых высоких сапогах, две-три молчаливые барышни в шелковых платьях. Музыка, пение, танцы под рояль. В промежутках чтение стихов и пение студенческих песен, вплоть до «Дубинушки по-студенчески». Шум, молодое веселье.

Рядом в гостиной – разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгопых и короткопых – первые в смазных сапогах, вторые в штиблетах – занимают дам.

Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются, и опять – к дамам или в соседнюю комнату, – там на двух столах степенная игра в преферанс и на одном в «стуколку». Преферансисты – пожилые купцы, два солидных чиновника – один с «Анной в петлице» – и сам хозяин дома, в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета.

В «стуколку» сражаются игроки попроще и помоложе.

– А ты, Кирилл Макарыч, в чужие карты глазнапы не запускай!

Письмоводитель из полицейского участка, из кутейников, ехидно отвечает:

– А что сказано в писании?

– А что?

– А сказано так: «Человек, аще хоцещи выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь».

От «стуколки» слышится:

– Туза виной... Хлоп хрестовый... Дама бубенная, червонный король...

Публика ожидаательно прислушивается; в столовой стук посуды – накрывают обед.

Разлили по тарелкам горячее... Кончилось чоканье рюмками... Сразу все замолкло – лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь.

И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи.

Кто-то поперхнулся. Сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыбы косточки проскочили... Фыркание, чавканье, красные лица, посоловелые глаза.

Два банщика в голубых рубашках откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское шампанское холодным душем низвергается на гостей.

Братья Стрельцовы – люди почти «в миллионах», московские домовладельцы, староверы, кажется, по Преображенскому толку, вся жизнь их была как на ладони: каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба – холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них: и управляющей всем хозяйством, и кухар-

кой, и горничной.

У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Они были почти однолетки, один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве: брал по сорок процентов!

Как-то вышло, что суд присудил Ф. Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог – пришлось отсидживать, но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом – говорили, в десять тысяч это обошлось, – очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны...

Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома.

Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице тоже – единственный раз – вздумал поростовничать, дал под вексель знакомому «члену-любителю» Московского бегового общества денег, взял в обеспечение его беговую конюшню.

А. Ф. Стрельцов из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадыю дворник поставил свое-

го родственника-мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне.

Алексей Федорович начал «пылить» на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх, и кучер.

Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошаденку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим «пыльником», гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира «Перепутье», где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же как и он, пылившие в таких же шарабанчиках и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев.

Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтиничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному – тогда еще тотализатор был рублевый.

Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг, посмотреть на проездки.

Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый.

Старший Федор все так же ростовщикчал и резал купоны, выезжая днем в город, по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликате-

сов, но ни тот, ни другой не пил. К восьми вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево.

В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера, а наверху были «саврасенковские номера», куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои «мельницы», куда завлекали из бильярдной игроков и обыгрывали их наверняка.

## СИНДИКАТ БАНЩИКОВ

Содержатели бань постановили повысить цены за вход в бани. В простонародных банях цена с 7 коп. увеличена до 10; в остальных отделениях надбавка выразилась в 5 коп. В городских сферах поднят вопрос об устройстве в Москве городских бань с минимальною платою.

*«Голос Москвы». 04 января (22 декабря) 1913 года*

Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом – содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже с шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы, и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком.

Так каждый вечер до одиннадцати часов проводили они время у Саврасенковых.

В десять часов утра братья вместе выходили из дому – Федор по делам в город, а Алексей в свои Чернышевские бани, с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками.

Он приходил в раздевальню «дворянского» отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника. Он ежедневно брился – благо даром, не платить же своему деньги, а в одиннадцать часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, – и уходил.

Алексей по уходе брата отправлялся напротив, через Брюсовский переулок, в грязный извозничий трактир в доме Косоурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками.

Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они, так же как и конюхи «пыльников», следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег.

– А вот на последнем гандикапе вы уже к столбу подходили первым, да вас Балашов объехал... Его Вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил... Балашов-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка...

В это время Стрельцов был уже членом-любителем бего-



вого общества. Вышло это неожиданно.

Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы.

Попробовал на проездках – удачно. Записал одну на поощрительный приз – благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики.

С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе – и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала:

– Веником! Веником ее!

А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, – ведь единственная жизненная радость была!

Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого

и не нарушавшей заведенного порядка жизни; деньги, деньги и деньги.

Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали; только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственно что читал – это беговые отчеты.

Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона». Алексей взял с собой Леньку-конюха.

Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу:

– И опять все вранье! А как он орал, что Вольный сын Эфира; а ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь: «Врет!» И верно врал: Вольный сын Легкого и Ворожеи.

Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца.

Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корш. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в соро-

ковых годах.

Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех; выкупавшись, вынимал из кармана маленького «жулика», вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой.

Из-за этого «жулика» знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к обьевшимся на масленице блинами купцам по триста и по пятисот рублей, чуть не побил его палкой.

Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, «стеснение в груди». Ему посоветовали сходить к Захарьину, но, узнав, что за прием на дому тот берет двадцать пять рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием – и Захарьин его принял.

Первый вопрос:

– Водку пьешь?

– Как же – пью!

– Изредка?

– Нет, каждый день...

– По рюмке? По две?..

– Иногда и стаканчиками. Кроме водки, зато ничего не пью! Вчера на трех именинах был. Рюмок тридцать, а может, и сорок.

Обезумел Захарьин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет:

– Что-о?.. Со... со... сорок! А сегодня пил?

– Вот только глотнул половину...

И показал ему из кармана «жулика».

«Захарьин ударил меня по руке, – рассказывал приятелям Григоровский, – да я держал крепко.

– Вон отсюда! Гоните его!

На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал...

А потом бросился за мной, поймал меня.

– А давно ли пьешь? Сколько лет?

– Пью лет с двадцати... На будущий год сто лет».

Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Гонецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал:

– А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел... Любил жарко париться!

– Пушкина? – удивленно спросили его слушатели.

– Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было, дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был – проси чего хочешь... Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов... знаменитый!

## ШАРЛАТАНСТВО

В последнее время в Москве развелось бесчисленное множество гадалок, хиромантов и т. п. шарлатанов.

Вчера, например, на Тверской открыто раздавались карточки с адресом «короля хиромантов» некоего Мазуркевича, открывшего прием с 10 час. утра до 10 час. вечера.

А в Дьяковских банях, в женском отделении гадалка-полька ввела своеобразный способ рекламы.

Из ванны, в которой виднеется только голова пожилой женщины, раздается голос:

– Предсказываю будущее, узнаю прошедшее, соединяю возлюбленных, привораживаю, лечу женские болезни, помогаю бесплодным... Плата по средствам...

Находящиеся в бане заинтересовываются. Услужливые банщицы раздают в раздевальне лоскутки с адресом гадалки, напечатанным на машинке, иллюстрируя при этом познания гадалки примерами удачного лечения, предсказаний и т. д.

И вся эта тунеядствующая масса живет за счет людского невежества и легковерия.

*«Голос Москвы». 17 (04) апреля 1909 года*

Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинкова, на Пречистенке, а супруга Тинкова – моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Василье-

вич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство. Не угодно ли брусничной? Ароматная!» – «А ты не боишься?» – спрашивает. «Чего?» – «А вот ее пить? Пушкин о ней так говорит: “Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда”, и оттого он ее пил с араком».

Денис Васильевич мигнул, и банщик уже несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака.

И начал Денис Васильевич наливать себе и нам: полстакана воды, полстакана арака. Пробую – вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает...

Не помню уж, как я и домой дошел.

В первый раз напился, – не думал я, что арака такой крепкий.

И каждый раз, как, бывало, увижу кудрявцовскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя.

В эти конфетки узенькие билетки вкладывались, по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик:

Боюсь, брусничная вода  
Мне б не наделала вреда!

Потом ни арака, ни брусничной не стало! До «жуликов» дожил! Дешево и сердито!..

Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он

видел, память у него была удивительная.

С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать, но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выразишь.

Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь. Где говорит, о том и вспоминает: в трактире – о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел; в театре в кругу актеров – идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал! Кого-кого он не помнил!

– А что, Ваня, ты Сухово-Кобылина знавал? – спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после «Кречинского».

– Нет, а вот Расплюева видал!

– Как Расплюева? Ведь это тип.

– Пусть тип, а был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая... При мне его тогда в трактире «Столбы» из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно; не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров!

Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям:

– Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел...

Андреев-Бурлак смеется:

– Ваня! Как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими слав-

но время проводить, тогда телеграфов еще не было.

Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие:

– Здравствуйте, Николай Ильич!

– Всю ночь в Рогожской на пожаре был... Выкупаюсь да спать... Домов двадцать сгорело.

Это был полковник Н. И. Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва.

Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы.

## **УТОНУВШИЙ В БАНЯХ**

30-го сентября в простонародных банях купца Малышева, на Алексеевской ул., во время купанья в установленном при банях резервуаре, на глубине 1 ¼ аршина, утонул кр. Р. С. Степанов, 25-ти лет.

*«Русское слово». 15 (02) октября 1909 года*

Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного, и, как все пожарные, любил бани.

В шестидесятих годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровожде-



нии «мушкетеров» (безоружных служителей при полицейских домах). В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, П. Г. Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере – и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бани.

По субботам члены «Русского гимнастического общества» из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани, а я всегда шел в Палашевские, рядом с номерами «Англия», где я жил.

А главное, еще и потому, что рядом с банями была лавчонка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу.

Лавчонка была крохотная, так что старик гигант Алексей Ермилыч едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке.

Лавчонка запиралась в одиннадцать часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые

стихи, поделиться своими.

В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сан-дуновские бани в десятом часу вечера.

Первым делом решил постричь волосы, – бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался.

– Помилуйте, – назвал меня по имени и отчеству, – ведь вы всегда брились.

Оказалось – ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку.

– На Кавказе, значит, были? У нас тоже в банях есть банщик персиянин с Кавказа, вот ежели хотите, я его позову.

Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне, весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал.

Действительно, на войне не до бань, а той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо.

– Абидинов! – крикнул он.

Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне не испытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь – после Пушкина писать нельзя! Цитирую его «Путешествие в Арзрум»: «...Гасан начал с того, что разложил меня на теплом

каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком: я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение (азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине вприсядку).

После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! После пузыря Гасан опустил меня в ванну — тем и кончилась церемония».

Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества.

Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в «горячую», сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане.

А вот и наши. Важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов, с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистые икры ног... Вот с кого лепить Геркулеса!

А вот с этого Антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, стар-

ший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией.



*Б. Кустодиев. Русская Венера*

Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипенье

воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, дождевой шумок душей – и не слышно человеческих голов.

Как всегда, в раздевальнях – болтают, в мыльне – молчат, в горячей – гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей.

А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит.

– Ишь когда его забрало... Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там... Аки лев рыкающий в пустыне Ливийской. Всех запарит! – обращается ко мне из ванны рядом бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихорками волос.

Это отставной чиновник светского суда, за пятьдесят лет выслуживший три рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице.

– При матушке Екатерине, – говорит он, – по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати! – обижался он.

А из горячей стали торопясь выходить по несколько человек сразу. В открытую дверь несло гоготанье:

– О... го-го!.. О-го-го!

– У... у... у... у...

– Плесни еще... Плесни... жарь!

Слышалось хлестанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов.

– Вали!.. Поясницу!.. Поясницу!.. – гудел громоподобный бас.

– Так!.. Так!.. Пониже забирай! О-о-о... го... го!.. Так ее!..  
Комлем лупи!.. Комлем!..

И вдруг:

– Будя!.. А!.. А!.. А!.. О... О...

Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко...  
Первым показался с веником в руках Тарасов. А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга.

Даже Тарасов перед ним казался маленьким.

Оба красные, с выпученными глазами прут к душе, и чудище снова ржет и, как слои, поворачивается под холодным дождем...

Сразу узнал его – мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил: «Не подобает бывать духовной особе на конском ристалище, начальство увидит, а я до коней любитель!»

Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит:

– Ты что это? А? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить.

Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева,

от возгласения «многая лета» которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали.

Мы с Тарасовым пошли одеваться.

В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Орфанов-Мишла – тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматая и бородатая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда.

А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев, Оба обитатели «Чернышей», оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья.

– Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню! Вы, члены «клуба немытых кобелей», и вдруг в бане!

Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в шестидесятых годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба.

Этот дом и другой, соседний, потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию «Нового времени».

Только два поэта посвятили несколько строк русским баням – и каждый отразил в них свою эпоху.

И тот и другой вдохновлялись московскими банями.

Один был всеобъемлющий Пушкин. Другой – московский поэт Шумахер.



...В чертоги входит хан молодой,  
За ним отшельниц милых рой,  
Одна снимает шлем крылатый,  
Другая – кованые латы,  
Та меч берет, та – пыльный щит.  
Одежда неги заменит  
Железные доспехи брани.  
Но прежде юношу ведут  
К великолепной русской бане.  
Уж волны дымные текут  
В ее серебряные чаны  
И брызжут хладные фонтаны;  
Разостлан роскоши ковер,  
На нем усталый хан ложится,  
Прозрачный пар над ним клубится.  
Потупя неги полный взор,  
Прелестные, полунагие,  
Вкруг хана девы молодые  
В заботе нежной и немой  
Теснятся резвою толпой...  
Над рыцарем иная машет  
Ветвями молодых берез...  
И жар от них душистый пышет;  
Другая соком вешних роз  
Усталы члены прохлаждает  
И в ароматах потопляет  
Темнокудрявые власы...

Изящным стихом воспеваает «восторгом рыцарь упоенный» прелесть русских Сандуновских бань, которые он посещал со своими друзьями в каждый свой приезд в Москву.

Поэт, молодой, сильный, крепкий, «выпарившись на полке ветвями молодых берез», бросался в ванну со льдом, а потом опять на полку, где снова «прозрачный пар над ним клубится», а там «в одежде неги» отдыхает в богатой «раздевалке», отделанной строителем екатерининских дворцов, где «брызжут хладные фонтаны» и «разостлан роскоши ковер»...

Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления.

Либеральный поэт шестидесятых годов П. В. Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Язу в Волконские «простонародные» бани.

Он был очень толст, страдал подагрой. И. С. Тургенев ему говорил: «Мы коллеги по литературе и подагре».

Лечился П. В. Шумахер от подагры и вообще от всех болезней баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на «каменку». Особенно он любил Сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову.

Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметева, на Сухаревской площади, где у него была комната. В ней он жил по зимам, а летом – в Кускове, где

Шереметев отдал в его распоряжение «Голландский домик».

Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно.

Вот отрывки из его стихов о бане:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,  
С тела волглого окатышки бегут,  
А с настреку вся спина горит,  
Мне хозяйка смутны речи говорит.  
Не ворошь ты меня, Танюшка,  
Растомила меня банюшка,  
Размягчила туги хрящики,  
Разморила все суставчики.  
В бане веник больше всех бояр,  
Положи его, сухмяного, в запар,  
Чтоб он был душистый и взбучистый,  
Лопашистый и уручистый...  
И залез я на высокий на полок,  
В мягкий, вольный, во малиновый парок.  
Начал веничком я париться,  
Шелковистым, хвостистым жариться.

А вот еще его стихи о том же:

Лишенный сладостных мечтаний,  
В бессильной злобе и тоске  
Пошел я в Волковские бани

Распарить кости на полке.  
И что ж? О радость! О приятство!  
Я свой заветный идеал –  
Свободу, равенство и братство –  
В Торговых банях отыскал.

Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках.

Я его вспомнил в Суконных банях, на Болоте, где было двадцатикопеечное «дворянское» отделение, излюбленное местным купечеством.

Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие Суконные бани.

Сунулся в «простонародное» отделение – битком набито, хотя это было в одиннадцать часов утра. Зато в «дворянских» за двугривенный было довольно просторно. В мыльне плескалось человек тридцать.

Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос – тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик:

– Идет!.. Идет!..

И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал

по мокрому полу и исчез.

Что такое? И спросить не у кого – ничего не вижу. Ощупываю шайку – и не нахожу ее; оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле. Кое-как протираю глаза и вижу: суматоха! Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки.

Ничего не понимаю – и глаза мыло ест.

Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором по середине головы, подстриженной в скобку.

И банщики по порядку, один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так, что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно:

– Будьте здоровы, Петр Ионыч!

– С легким паром!

Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит:

– Петр Ионыч... Губонин... Их дом рядом с Пятницкою частью, и когда в Москве – через день ходят к нам в эти часы... по рублевке каждому парильщику «на калач» дают.

# Трактиры

Нам трактир дороже всего!» – говорит в «Лесе» Аркашка Счастливец. И для многих москвичей трактир тоже был «первой вещью». Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех – от миллионера до босяка.

Словом, прав Аркашка:

– Трактир есть первая вещь!

Старейшими чисто русскими трактирами в Москве еще с первой половины прошлого столетия были три трактира: «Саратов», Гурина и Егорова. У последнего их было два: один в своем собственном доме, в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева, на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина, И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот, к великой купеческой гордости, на стене вновь отделанного, роскошного по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: «Большой Патрикеевский трактир». А внизу скромно: «И. Я. Тестов».

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

И купечество и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву в учебные заведения и когда установилась традиция – пообедать с детьми у Тестова или в «Саратове» у Дубровина... откуда «жить пошла» со своим хором знаменитая «Анна Захаровна», потом блиставшая у «Яра».

После спектакля стояла очередью театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и «Саратов». В 1876 году купец Карзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромный дом и составил «Товарищество Большой Московской гостиницы», отделал в нем роскошные залы и гостиницу с сотней великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы. Но она не помешала Тестову прибавившему к своей вывеске герб и надпись: «Поставщик высочайшего двора».

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.



*Новый «Ярь»*

Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные за-



лы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстым стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно сидел за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

– У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается... По-русски едим – зато брюхо не болит,

по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не ша-таемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман. Много их бывало у Тестова.

Передо мной счет трактира Тестова в тридцать шесть рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями: «В. Далматов и О. Григорович». Число – 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене В. П. Далматов и его друг О. П. Григорович, известный инженер, москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левой зале нас встречает патриарх половых, справивший сорокалетний юбилей, Кузьма Павлович.

– Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором «Московского листка» Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белее рубахи, замер пред нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам-половым.

– Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки... К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

– Слушаю-с.

– А теперь сказывай, чем угостишь.

– Балычок получен с Дона... Янтаристый... С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет...

– Ладно. Потом белорыбка с огурчиком...

– Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сам на даче провешивали. Икорка белужья парная... Паюсная ачуевская – калачики чуевские. Поросенок с хреном...

– Я бы жареного с кашей, – сказал В. П. Долматов.

– Так холодного не надо-с?

И мигнул половому.

– Так, а чем покормишь?

– Конечно, тестовскую селянку, – заявил О. П. Григорович.

– Селяночку – с осетриной, со стерлядкой... живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

– Расстегайчики закрась налимьими печенками...

– А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное...

– А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, – улыбается В. П. Долматов.

– Всем поросенка... Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

– А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, – предлагает В. П. Долматов.

– Лососинка есть живенькая. Петербургская... Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло...

– Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус... Ведь не забудешь?

– Помилуйте, сколько лет служу!

И оглянулся назад.

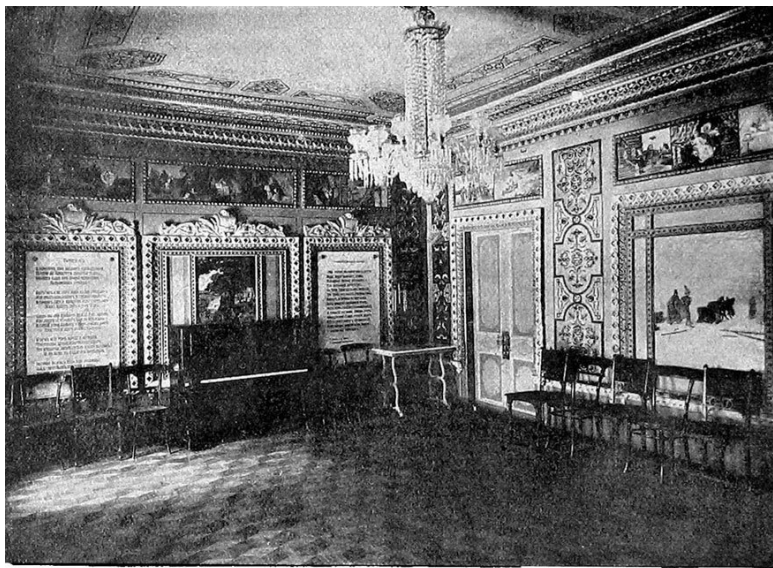
В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шутовская рябиновка и портвейн Лева № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачувской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

– Кузьма, а ведь ты забыл меня.

– Никак нет-с... Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.



Пушкинский залъ. (Безъ измѣненій перенесенъ въ новое зданіе).  
На стѣнныхъ доскахъ рядъ стихотвореній А. С. Пушкина.

### *«Пушкинский» кабинет в старом «Яре»*

– Нешто можно забыть, помилуйте-с!

Начали попервоначалу «под селедочку».

– Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка – селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимых печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зуб-

ровки под салат оливье...

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми...

Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком... Выпили по стопке эля «для осадки». Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые расстегаи.

– Селяночки-с!..

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбежавшихся от цельного куска серой наливной печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

– Розан китайский, а не пирог! – восторгался В. П. Долматов.

– Помилуйте-с, сорок лет режу, – как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. – Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

– А давно он был?

– Завтракали. Только перед вами ушли.

– Поросеночка с хреном, конечно, ели?

– Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хреном и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде

Наши деды и отцы...

Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в прошлом столетии были в большой моде, а потом уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один «ресторан» – «Славянский базар», а остальные назывались «трактиры», потому что главным посетителем был старый русский купец. И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые – ярославцы, в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. «Белорубашечники», «половые», «шестерки» – их прозвания.

– Почему «шестерки»?

– Потому, что служат тузам, королям и дамам... И всякий валет, даже червонный, им приказывает... – объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: – Ничего! Козырная шестерка и туза бьет!

Но пока «шестерка» станет козырной, много ей мытарств надо пройти.

В старые времена половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы – «ярославские водохлебы». Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний.

Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих «шестерок». Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку, лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру.

Мечта у всех – попасть в «Эрмитаж» или к Тестову Туда брали самых ловких, смысленных и грамотных ребятишек, и здесь они проходили свой трудный стаж на звание полового.

Сначала мальчика ставили на год в судомойки. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню – ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названиям кушаний... В полгода мальчик наострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху. – Все соуса знает! – рекомендует главный повар.

После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом году



своего учения удостоивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, — и мальчик служит в зале.

К этому времени он обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна рубашек и штанов, всегда снежной белизны и не помятых.

Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда «Славянском базаре» половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами, а гости их звали: «Человек!»

Потом «фрачники» появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя.

Деньги, данные «на чай», вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил; часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых: подвенечные.

– Почему подвенечные?

– Это старина. Бывалоче, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы да в щели, под венцы, — объясняли старики.

Половые и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов

или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или 20 процентов с чаевых, вносимых в кассу.

Единственный трактир «Саратов» был исключением: там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савостьянов, не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили и половым и мальчикам по три рубля в месяц.



— Но я, вѣдь, просилъ большую порцію?

— Совершенно вѣрно-съ! И если-бы вы спросили маленькую, то вы-бы се и не разглядѣли..

*С. Мухарский. Карикатура*

— Чайные — их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, — говаривал Савостьянов.

Сколько часов работали половые, носясь по залам, с кухни и на кухню, иногда находящуюся внизу, а зал — в тре-

тьем этаже, и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть не по шестнадцати часов в сутки. Особенно трудна была служба в «простонародных» трактирах, где подавался чай – пять копеек пара, то есть чай и два куска сахара на одного, да и то заказчики экономили.

Садятся трое, распоясываются и заказывают: «Два и три!» И несет половой за гривенник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает.

– Чай-то жиденек, попроси подбавить! – просит гость.

Подбавят – и еще бегай за кипятком.

Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей – снаружи, а внутри – «каток» со снедью.

На катке все: и щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель.

И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

– Принеси-ка на двугривенный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

А постом:

– Киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попоснит!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером.

Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда – пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погрется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков: «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Неглинной, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом № 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор.

В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный «каток», арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлечь извозчиков, чтобы они говорили:

– Едем в Столешников. Лучше «катка» нет!

И едут извозчики в Столешников потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными – места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда два и семь – то есть два чайника с кипятком и семь приборов.

И «на чай» посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу.

– Малой, смотайся ко мне на фатеру да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду, – приказывает сосед-подрядчик, и «малый» иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубаше через улицу и исполняет приказание постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда – по шее попадет от буфетчика.

Или извозчик приказывает:

– Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь гнедая, с лысинкой.

И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозничьего двора искать «гнедую с лысинкой» и «воблу под седушкой».

Сколько их заболело воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом, полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему про-толкуешь.

А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был.

И получить сумеют.

– Ну как, заправил?

– Петра-то Кирилыча? Так, махонького... А все-таки...

Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилыча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в «Обжорке», где собираются старинные половые.

Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилыча!» Но Петр Кирилыч иногда отвечал купцу – он знал кому и как ответить – так:

– И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось по счетам когда платите, сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали «на чай». Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут,

но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует:

– Я тебе дам селедку! А по морде хочешь?





В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

– Селедку не забудь, селедку!

И на несчастье, из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку».

– Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся и замер.

Замерли и купцы.

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло – неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой Козел.

Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова,

которого вообще тверцы не любили. Охотнорядские купцы потешались над ним обыкновенно так: занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтоб освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу – а там игрушечный козел! Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость Козел служил в «Монетном» у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор.

Был в трактире у «Арсентьича» половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так, половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу

да и закричала мужу:

– Поросенок убежал, лови его!

И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости... Иногда даже плакал старик.

Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на двенадцать приборов, с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром: чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню – тоже допетровских времен.

Здесь давались небольшие обеды особенно знатым иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью – фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным

ковшом, а пили кубками.

Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в «русской избе», сохранив всю обстановку.

Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в восьмидесятых годах съехались из Сибири золотопромышленники самые крупные и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой «избе», а на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое – закуска и второе – «сибирские пельмени».

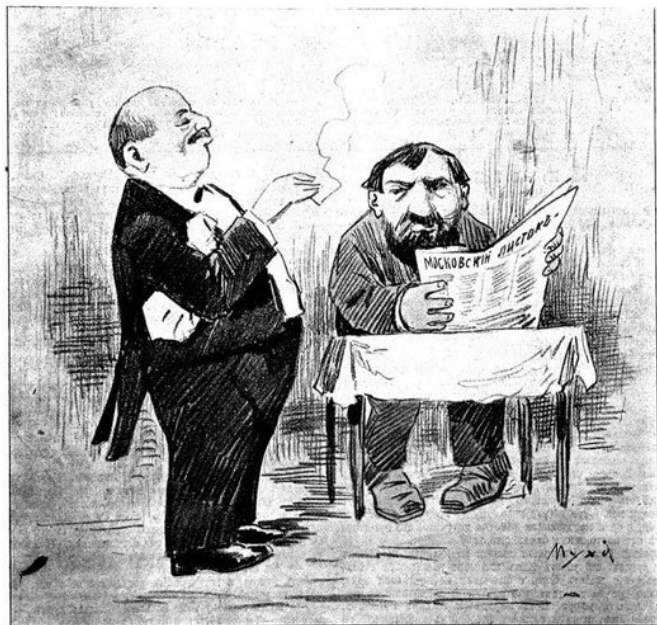
Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском... И хлебали их сибиряки деревянными ложками...

У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным: через говяжью кость перегоняют!

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали де-

ло, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.



— Ты бы хоть папиросу-то бросил, когда съ тобой, болячком, хороший гость разговаривает и заказ тебе дѣлает... Небось, читалъ, что петербургскій городской голова со службъ прогнать сажающаго, который поджигалъ при немъ табакъ курить...

— Такъ то голова, да еще сажающаго, а здѣсь я вродѣ хозяина, потому рестораи у насъ свои и я здѣсь что хочу, то и дѣлаю.

*С. Мухарский. В ресторане общества офицантов. Карикатура*

Таков же был трактир и «Арсентьича» в Черкасском пе-  
реулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной  
и белугой, которые подавались на закуску к водке с хре-

ном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у «Арсентьича» были изумительные, и Гл. И. Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей «Арсентьича».

За ветчиной, осетриной и белугой в двенадцать часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах.

Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря «хренку с уксусом» и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в «Славянский базар», а то и прямо к «Яру».

Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к «Яру» и вообще «за заставу» – попадают!

У «Арсентьича» было сытно и «омашнисто». Так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в восьмидесятых годах был еще трактир, кажется Пономарева, в доме Карташева. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика.

Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесаный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный... К его столику под-

ходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые – очень огорченные.

А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны.

Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташев. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели.

Ночи он проводил в подвалах, около денег, как «скупой рыцарь». Вставал в десять часов утра и аккуратно в одиннадцать часов шел в трактир. Придет. Сядет. Подзовет полового:

– Вчерашних щец кухонных осталось?

– Должно, осталось.

– Вели-ка разогреть... А ежели кашка осталась, так и кашки...

Поест – это на хозяйский счет, – а потом чайку спросит за наличные:

– Чайку одну парочку за шесть копеек да копеечную сигару.

Является заемщик. Придет, сядет.

– Чего хочешь?

– Выпил бы чайку.

– Ну и спрашивай себе. За чай и за сигарку заплати сам.



И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за шесть копеек. А если спросит полпорции за тридцать копеек или закажет вина или селянку – разговоры кончены:

– Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю. – И выгонит.

Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за шесть копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташев не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали.

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Десятки лет такой образ жизни вел Карташев, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташевские миллионы.

Только после смерти Карташева выяснилось, как он жил: в его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины: заберется вор – пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье.

Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом – свертки полуимперIALов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке – на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояния было более 30 миллионов.

В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья, по Ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов.

Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю, на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья:

– Ох, трудна жизнь купеческая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и еля и – к «Яру» велели...

К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и «Арсентьича», если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово:

– Скольки?

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и – хлесть ее в зеркало. Шум.

Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает:

– Скольки?

Платит, не торгуясь, и снова бьет...

А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходивших дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота – подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором, а он орет:

– Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду!

Хозяйское слово крепко, и кулак его тоже.

Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор, и на другой день никакого раскаяния, купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками:

– Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!

– А вы бы, Макарий Паисиевич, в баньку сходили – помылись бы. Полегчает...

– Желаю! Мыться!

– А я баньку велю истопить.

– Не хочу баню! Топи погреб!

И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать...

Но бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж нечто неподобное.

- Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?
- Да так вчера вышло...
- Аль в «дыру» попал?
- Угодил!

Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела: «дыра».

Бубновская «дыра».

Благодаря ей и верхнюю, чистую часть дома тоже называли «дыра». Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше чем в двадцать ступеней. Старинные своды невероятной толщины – и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки – это «каморки», полутемные и грязные. Посередине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок.

Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти. Такие же стулья.

Гостинодворское купечество, ищущее «за грош да пошире» или «пошире да за грош», начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь, – женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево: порции огромные, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные

портвейны, мадеры, лиссабонские московской фабрики, вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели:

От ланинского редерера  
Трещит и пухнет голова...

«Мартьяныча» обожала вся Москва, ресторан всегда был полон посетителями. Газеты пестрели рекламными объявлениями о предстоящих торжественных ужинах или отчетах о прошедших празднествах.

«Встретили...

Как следует по традиции.

Гремело „ура“, летали в потолок пробки, у „Мартьяныча“ срывали украшения с елки и... и украшали ими дам.

Разумеется, раздавалась стереотипные, ежегодно повторяемая фраза.

– С новым годом, с новым счастьем!

Пролетела бурная, хмельная, головокружительная ночь, а сегодня... сегодня все идет по-старому...

Год как будто еще новый, а дела... дела старые!

По-старому люди будут гоняться за неуловимым призраком счастья.

По-старому московский трамвай будет калечить обывателей и автомобилисты не отставать от него.

По-старому будут писаться бездарные пьесы, жены изменять мужьям, тотошники проигрываться,

интенданты „попадаться“, Пуришкевич скандалить, Сабуров утверждать, что „лучше смех, чем слезы“.

И только переменится... одна цифра в дате года: на конце вместо „единицы“ будут писать „двойку“.

Вот и все!

А впрочем:

– С новым годом, с новым счастьем!»

*«Московская газета». 15 (02) января 1912 года*

Однако судьба уготовила удачливому дельцу и ресторатору Петру Николаевичу Мартьянову трагический финал. Девятого марта 1912 года «Московская газета» известила своих читателей: «Ночью в собственном доме во время сна убит содержатель крупного ресторана „Мартьяныч“ купец Мартьянов. Убийцей оказался сын Мартьянова Сергей, 18-ти лет, который проникнув в спальню, нанес отцу несколько смертельных ран. Совершив злодеяние, убийца скрылся. Причина убийства – семейные несогласия».

Пили и ели потому, что дешево, и никогда полиция не заглянет, и скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы «сокровенно» было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в бубновской «дыре».

В «городе» более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах Городских рядов «Мартьяныча», рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях бубновскую

«дыру».

Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допущался и женский элемент чего в «дыре» не было.

Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и... аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.

Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.

Сватайся и женись.

Обеды в ресторане были непопулярными, ужины – тоже. Зато завтраки, от двенадцати до трех часов, были модными, как и в «Эрмитаже». Купеческие компании после «трудов праведных» на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к трем часам уходили. Оставшиеся после трех кончали «журавлями».

«Завтракали до „журавлей“» – было пословицей.

И люди понимающие знали, что, значит, завтрак был в «Славянском базаре», где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала «журавлей».

Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший пятьдесят рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое

время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один коннозаводчик собрал их семь штук и показывал свое собрание с гордостью.

Здание «Славянского базара» было выстроено в семидесятых годах А. А. Пороховщиковым, и его круглый двухсветный зал со стеклянной крышей очень красив.

Сидели однажды в «Славянском базаре» за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит:

– Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки... Что это значит?

Журнал «Ресторанная жизнь» в 1913 году опубликовал шутивное стихотворение «Письмо к тетушке», посвященное открытию новых ресторанов в Москве:

Ma tante, желудку без борьбы  
Мы отдаем свою свободу  
И рестораны, как грибы,  
Растут в дождливую погоду.  
...Мы тем лишь горды, что Москва  
Есть центр российского желудка.

– Это значит, что не минешь ты острога! Предзнаменование!

А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.

Были еще рестораны загородные, из них лучшие – «Яр»



и «Стрельна», летнее отделение которой называлось «Мавритания». «Стрельна», созданная И. Ф. Натрускиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы – она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и – как полагается – кругом кабинеты, где всевозможные хоры.

«Яр» тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный «Апельсином». Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь не был, а если и писал:

И с телятиной холодной  
Трюфли «Яра» вспоминать... –

то это было сказано о старом «Яре», помещавшемся в пушкинские времена на Петровке.

Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от «Эрмитажа» и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями «пополам» – из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие бильярды, где велась приличная игра.

Когда пошло увлечение модой и многие из трактиров стали называться «ресторанами» – даже «Арсентьич», перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе официаль-

но «Старочеркасский ресторан», а публика шла все так же в «трактир» к «Арсентьичу».

Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков, вроде «Италии», «Ливорно», «Палермо» и «Татарского» в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был «Петергоф» на Моховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах.

«Сегодня, в понедельник – рыбная селянка с расстегаем. Во вторник – фляки... По средам и субботам – сибирские пельмени... Ежедневно шашлык из карачаевского барашка».

Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в семидесятых годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в восьмидесятых-девяностых годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром «Арсентьича», кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и – тоже тайно – с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки:

«К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова» и свой адрес.

Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при «Петергофе».

Заходили опять по рукам карточки «племянника князя Аргутинского-Долгорукова» с указанием «Петергофа», и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными.

Были еще немецкие рестораны, вроде «Альпийской розы» на Софийке, «Било» на Большой Лубянке, «Берлин» на Рождественке, Дюссо на Неглинной, но они не типичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее пильзенское пиво.

Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там в отдельном зале с запиравшеюся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было: в одиннадцать часов ресторан запирался, публика расходилась – и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале.

Закрота кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала... Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра.

– Отдохновенно и сокровенно у меня! – говаривал Василий Яковлевич.

Приходили поодиночке и по двое и уходили так же через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому мосту и Газетному переулку (тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным), до Тверской, в свои «Черныши» и дом Олсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные...

В «малом зале», как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры: П. Г. Зайчневский, М. И. Мишла-Орфанов, Ф. Д. Нефедов, Н. Н. Златовратский, С. А. Приклонский. Среди них шупленький, с интеллигентско-русой бородкой Н. М. Астырев, тогда читавший там корректуры своей книги «В волостных писарях». Затем крошечный, бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193-х, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь В. А. Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок на дорогу.



- Дай мнѣ осетрины холодной!
- Съ удовольствіемъ-съ!
- Да не съ удовольствіемъ, а съ соусомъ тартаръ!

### *В трактире*

Вася Васильев принес как-то только что полученный № 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение П. Я. (Якубовича)

«Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер.

– Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?

– Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным.

– Сейчас.

Василий Яковлевич исчез и принес радужную сторублевку.

– На такое великое дело извольте получить.

Только этим и памятен был рестораник «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся франтоватая публика не удостаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю «Альпийскую розу» и «Било».

Рестораном еще назывался трактир «Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали личахи-одиночки, пары и линейки с цыганами.

Это был цыганский трактир. После «Яра», «Стрельны» и «Эльдорадо» цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали сюда «пить чай», а с ними и их поклонники.

А невдалеке от «Молдавии», на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В шесть часов утра чистый зал трак-

тира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу: попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой.

И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда подражали тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых:

– Человек, это тебе на чай.

И давал гривенник «человек» во фраке человеку в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали. Подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам:

– Дай железные!

Или прикажет:

– Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!

И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку.

На углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова за-

нималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий, простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше ста столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут.

А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» – так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз, в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием: «Арест революционеров в „Голубятне“».

Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты «Голубятни» служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги.



Очень уж удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам, с пяти часов, собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались «простонародные» свадьбы, и здесь собиралась «вязка», где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе: или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось: «надеть чугунную шляпу».

Кроме этой полупочтенной ассоциации «Чугунных шляп», здесь раза два в месяц происходили петушинные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена, наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор – держались крупные пари за победителя.



— Ты что-же это? За столомъ не заплатилъ, а къ буфету пить пошелъ?

— Не беспокойся, миленькій, я и здѣсь не заплачу!..

*С. Мухарский. Успокоил. Карикатура*

К известному часу подъезжали к «Голубятне» богатые

купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конспирации, поднимались на второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Оди- чалые зрители, с горящими глазами и судорогами на лице, то замирали, то ревели по-звериному Кого-кого здесь не было: и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и «Чугунные шляпы».

Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписанные из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выско- чившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое «за удачную петушиную охоту». Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей по- пойкой.

Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на «Голубятне», а если являлся

в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и... его, конечно, растащили: трактир, когда-то «золотое дно», за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим.

Кроме «Голубятни» где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушинные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее.

Третье место боев была «Волна» на Садовой – уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников.

Среди московских трактиров был один-единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста, на берегу Москвы-реки.

Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост и набережную, любясь на работу удалцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.

У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у А. Павловского на Трубе и в Охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники.

А. Т. Зверев имел два трактира – один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа». Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там доедались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо, разве иногда прозвучит:

– Натура сто двадцать шесть...

– А овес?

– Восемьдесят...

И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, – убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит...

На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей... И на столах, в часы биржи, кроме чая – ничего... А потом уж, после «делов», завтракают и обедают.

Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора А. С. Левенсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров Ал. Ал. Левенсона.

Здесь в дни аукционов в ломбардах и ссудных кассах собиралась «вязка». Это – негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. «Вязка» после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут «вязка» сводит счета и делит между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь, в зале толкутся другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар... Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки.

Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато «фабрикаторы народных книг», книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло «просвещение» сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев.

Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более «званий», то есть наименований книг, – от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы «писателям».

«Писатели с Никольской!» – их так и звали.

Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибежавших к «издателям с Никольской» в минуту карманной невзгоды. Большею частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, неокончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей.

– Мне бы надо новую «Битву с кабардинцами».

– Можно, Денис Иванович.

– Поскорей надо. В неделю напишешь?

– Можно-с... На сколько листов?

– Листов на шесть. В двух частях издам.

– Ладно-с. По шести рубликов за лист.

– Жирно, облопаешься. По два!

– Ну хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, и сочинитель через две недели приносит

книгу.

За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах...

– Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман» и «Граф Монтекристо», и «Три мушкетера», и «Юрий Милославский». Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там черт знает какая отсебятина нагорожена... У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали.

– Ну-к што ж. И у меня они есть... У каждого свой «Юрий Милославский», и свой «Монтекристо» – и подписи: Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне «Тараса Бульбу».

– То есть как «Тараса Бульбу»? Да ведь это Гоголя!

– Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба! Тут, брат, важно заглавие, а содержание – наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут, и все-таки Бульба – он Бульба и есть, а слова-то другие.

После этого разговора, действительно, появился «Тарас Бульба» с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать!



Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами Охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова.

– Где сам? – спрашивают приказчика.

– В пещере с покупателем.

Трактир «Балаклава» состоял из двух низких, полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры: правая и левая.

Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.

По другую сторону площади, в узком переулке за Лоскутной гостиницей существовал «низок» – трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие да заседали два-три самых важных «аблаката от Иверской». К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было «народное юридическое бюро».

За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошения приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича

ча посещал здесь знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако.

Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переуллка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской Трамбле и огромного Солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью.

Многие десятки лет над крыльцом его – не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами – тускнела вывесочка: «Трактир С. С. Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров – Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке, с бородой лопатой. Великим постом «Щербаки» переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены: Н. К. Милославский, Н. Х. Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости Малого театра. Быва-

ли и драматурги и писатели того времени: А. Н. Островский,  
Н. А. Чаев, К. А. Тарновский.



Завсегдатаями «Щербаков» были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи:

И один из этих братьев  
Был по имени Иван,  
По фамилии Кондратьев,  
По прозванию Атаман.

Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычно к концу великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу.

Трактир этот славился расстегаями с мясом. Расстегай во всю тарелку, толщиной пальца в три, стоит пятнадцать копеек, и к нему, за ту же цену, подавалась тарелка бульона.

И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.

Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке – Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика.

Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта.

Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить

роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана: она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков: «Ведь земля моя». Город предлагал купить этот клочок земли – Хомяков наотрез отказался продать: «Не желаю». И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополя, ветлу и осину.

Рос дом. Росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался, таким образом, посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые. Хомяков не сдавался.

– Это моя собственность.

Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством.

– Воздействуйте через администрацию, – посоветовал кто-то городскому голове.



*К. Маковский. Московские балаганы*

Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия.

– Меня вы можете выселить. Я уеду а собственность моя останется.

Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы Советской власти, но вдруг в один прекрасный день – ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. Как? Кто? Что? – недоумевала Москва. Слухи

разные, — одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок и в этот же день уехал за границу. Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы; говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию.

А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечение» с подписью: А. Пазухин.

Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков А. М. Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рошу Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет в роще...

Ранее, до «Щербаков», актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый Колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в «Щербаки», так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим кружком, и актеры, день проводившие в «Щербаках», вечером бывали в Кружке.

Когда закрылись «Щербаки», актеры начали собираться в ресторане «Ливорно», в тогдашнем Газетном переулке, как раз наискосок «Щербаков».

С двенадцати до четырех дня великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низень-

ких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты – то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех оvation, при которых публика поднесла им эти вещи.

Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение – цепочка с брелоками – уходит вслед за часами в ссудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.

С переходом в «Ливорно» из солидных «Щербаков» как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам Кружка или заходили в немецкий ресторанчик Вельде, за Большим tea тром.

Григоровский, перекочевавший из «Щербаков» к Вельде, так говорил о «Ливорно»:



– Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает: «Цамаая люцая цакуцка – это цудак по-глицески!» Попробовал – мерзость.

Актеры собирались в «Ливорно» до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке, на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками.

Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро...

Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.

Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое: Михаил Павлович Докучаев – трагик и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли.

Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол «объегорить»...

# На моих глазах

Сподъезда вокзала я сел в открытый автомобиль. И первое, что я увидел, это громаду Триумфальных ворот. На них так же четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком... Вспоминаю... Но мы уже мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула... Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа.

Все торопятся – кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу... Вспоминается: «Теперь брюхо бежит за хлебом, а не хлеб за брюхом».

Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков... У большинства на лошадях и шлеи нет – хомут да вожжи.

Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси.

Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица. Шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперек Тверскую, снуя между экипажами...

А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый, в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой.

Но вот опускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело. Загрохотала Москва...

На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я четыре месяца прожил в великолепной тишине глухого леса – и вдруг в кипучем котле.

Мы свернули налево, на Садовую.

Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль! Изъездил немало.

В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо – улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмущимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать.

Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, – это знакомый двухэтажный дом, который напомнил мне 1876 год. Но где же палисадник перед ним?



*Ж. Делабарт. Вид на Москву*

Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу у меня есть время подробно разобраться и до мелочей вос-

кресить прошлое.

В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене — певца Петрушу Молодцова (пел Торопку в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове). Он затащил меня в гости к своему дяде в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза и играли два гимназистика-приготовишки.

У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали.

Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка — с другой. Оба увидали серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась.

Купец поражен.

— Это их любимая игра. Уж и смеху бывает, — объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой...

Вот этого-то палисадника теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году...

Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая, вместо булыжной.

А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была Садовая в дни его молодости, в сороковых годах.

— ...Камнем тогда еще не мостили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, станови-

лись торчком и надолго задерживали движение.

...Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у дверец. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках, по одному у каждой дверцы, по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ – шестерней. На левой, передней, лошади сидел фореитор, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу: можно ли проехать? Вдоль всей Садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними – канавы для стока воды. Особенно непроездна была Самотечная и Сухаревские Садовые с их крутым уклоном к Неглинке.

Целыми часами мучились ломовики с возами, чтобы вползть на эти горы. Но главный ужас испытывали на Садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком, по Владимирке, начинавшейся за Рогожской заставой. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы, Бутырской, через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии – иногда в тысячу человек и больше – выставлялись по тротуару цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым жел-

того сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы.

За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованные к одному железному пруту: падает один на рытвине улицы и увлекает соседа. А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымаг, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети; с детьми – и заболевшие арестанты.

Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу, и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна.

– Десятки лет мы смотрели эти ужасы, – рассказывал старик Молодцов. – Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаении. А тут дети плачут в колымагах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их, и публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи... Кто что может...

Такова была Садовая в первой половине прошлого века. Я помню ее в восьмидесятых годах, когда на ней поползла конка после трясучих линеек с крышей от дождя, запряженных парой «одров». В линейке сидело десятка полтора пассажиров, спиной друг к другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал:

– Вылазь!

И вылезали, и шли пешком в дождь, по колено в грязи, а поднявшись на гору, опять садились и ехали до новой горы.

Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом, года через два, – и по Садовой. Тут уж в гору Самотечную и Сухаревскую уж не кричали: «Вылазь!», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей впереди их, одна за другой, с мальчуганами-форейторами.

Их звали «фалаторы», они скакали в гору, кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищах, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что «фалатор» падал с лошади. А то лошадь поскользнется и упадет, а у «фалатора» ноги в огромном сапоге или, зимнее дело, валенке – из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня – езжай! А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные.





*В. Поленов. Московский дворик*

«Фалаторы» в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь, одинаковую с лошадьми, и пути их были одинаковые: с рассветом выезжали верхами с конного двора. В левой руке – повод, а правая откинута назад: надо придерживать неуклюжий огромный валеk на толстых веревочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона... Пришли на площадь – и сразу за работу: скачки в гору а потом, к полуночи, спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне. Поили лошадей на площади, у фонтана, и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метеным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачке на гору.

В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились лубками; полы, вместо того чтобы покрывать мерзнувшие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера...

На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались всухомятку, чем попало, в лучшем случае у обжорных баб, сидящих для тепла кушаний на корчагах; покупали тушенку, бульонку а иногда серую лапшу на наваре из осердия, которое продавалось отдельно: на копейку – легкого, на две – сердца, а на три – печенки кусок баба отрежет.

Мечта каждого «фалатора» – дослужиться до кучера. Под дождем, в зимний холод и выюгу с завистью смотрели то на дремлющих под крышей вагона кучеров, то вкусно нюхающих табак, чтобы не уснуть совсем: вагон качает, лошади трух-трух, улицы пусты, задавить некого...

Был такой с основания конки начальник станции у Страстной площади, Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причем приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут: кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы.

– Сыпани, Михаил Львович!

И никому отказа не было.

Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа.

Вот о кучерской жизни и мечтали «фалаторы», но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечье – их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал: «По собственной неосторожности». Многие простужались и умирали в больницах.

А пока с шести утра до двенадцати ночи фореиторы не сменялись – проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона.

Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок двух

дремлющих на клячах фореиторов.

Картину эту перепечатали из русских журналов даже иностранные. Подпись под нею была:

Их моют дожди,  
Посыпает их пыль...

Вагоны были двухэтажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «империал», а пассажиры его — «трехкопеечными империалистами». Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На империал вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на империал. Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещения, украинец, в то время когда было предложено голосовать, сказал:

— Та они же без штанцив!

И вопрос при общем хохоте не баллотировался.

\* \* \*

Мы мчались, а я все гляжу: «Да где же палисадники?»

На месте Угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговали с возов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей «арапами», — чудный сквер

с ажурной решеткой. Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна» – притон шулеров, аферистов и «деловых ребят».

В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни. Войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась незаперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся.

– Там никого...

Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли.

Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой «червонных валетов», нашумевших на всю Москву.

Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того «червонного валета», для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире, в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганьково. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк.



*М. Воробьев. Вид Московского Кремля*

Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр»,

против которого через шоссе поворот к кладбищу.

Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра» и, никем не остановленные, прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского.

Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца.

Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в «подержанном» гробу.

И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая:

– Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?

Потом, с годами, все это забылось и вспоминалось мне, когда я уже миновал Каретный ряд и въехал на Самотечную-Садовую.

Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садилов было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников,

ни к чему съедавших пол-улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тротуары под куполом зеленых деревьев – красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве.

Спускаемся на Самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут с Сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье: кто носильное тряпье, кто самовар, кто лампу или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы. Свернули направо. Мчимся по Цветному бульвару, перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени.

Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам «всякое бывало», а днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана



и скрываются за Домом крестьянина на Трубной площади.

Асфальтовые Петровские линии. Такая же, только что вымытая Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из брандспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца.

Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы. Где же Охотный ряд?